

Оставь надежду...

*Где просто – там ангелов до ста.
Народная мудрость*

*Входящие, оставьте упования.
Данте*

1

Старый чекист умер белой ночью. Но в половине девятого утра, предвещавшего мутно-жаркий, изнывающий в дрожащем палевом мареве день, Жека об этом еще не знал: в комнату прадеда с утра не принято было заглядывать. Если кто совался раньше десяти, пусть даже с самыми благими намерениями – осведомиться, например, не желает ли дедушка откушать чаю с баранкой, – он рисковал получить в лоб большим новым тапком, пущенным меткой рукой бывшего Ворошиловского стрелка.

Самое смешное заключалось в том, что девяностовосьмилетнему дедушке тапки вовсе не требовались: вот уже третий год, как после памятного головокружительного полета из окна их второго этажа, у него была парализована нижняя часть тела. Но домашние шлепанцы, совсем новые, за неделю до неприятности полученные в подарок, он с суеверным упорством запрещал убирать, свято веруя, что смехотворный недуг отступит сам собой как-нибудь поутру, и он, старый солдат революции, с того утра снова встанет в строй обеими ногами... – для начала в тапках, а уж потом найдет способ сменить их на добротный чекистский хром.

Но дед ошибся. Ноги вернулись не утром, а прямо среди ночи. Он даже не ощутил момента их возвращения – просто вдруг ясно понял, что они на месте и вполне подчиняются: вон, как послушно сгибаются и разгибаются большие лиловые пальцы с крепкими желтыми ногтями!

Дедушка не удивился и даже не особенно обрадовался – до того все эти месяцы он был каждую минуту внутренне готов подняться. А что произошла какая-то временная накладка, и вместо утра с положенным лучом меж неплотно сдвинутых штор, в окно подглядывает сумрачный и тревожный зрак белой ночи – то, стало быть, так и нужно, стало быть, приказ – идти именно сейчас.

Он сел, уверенно свесил ноги с тахты – и они тотчас же уютно угнездились в гостеприимные тапочки. Тогда дедушка поднялся, мимоходом отметив про себя, как ладно, по-молодому, успевает его тело за намерениями, – и замер: ну конечно, как он мог забыть?! Старееет, что ли? Да нет, вот вспомнил же вовремя! Ну, теперь-то его врасплох не застанут и голыми руками не возьмут! Чекист аккуратно опустил на четвереньки, протянул длинную руку под тахту и выдвинул большую обувную коробку. Там, под всяким ненужным хламом, который так тщательно бережется до смерти, а после – выбрасывается скопом и без проверки, завернутый в пеструю оберточную бумагу, под ней – в твердую парусину, и наконец – в кусок промасленного холста – он и лежал целехонький. Стиснул. Держат рученьки! Ого-го! Теперь коробку закрыть и обратно под тахту. Ногой ее. Так. Еще раз глянул на вновь обретенного друга. Даже почти умилился – слезы только не хватает. Вздохнул глубоко, расслабиться хотел перед новым боем и вдруг – яркая, ни на что не похожая боль рванула сердце на куски. «Достали все-таки... Чуть-чуть не дотянул... Прямо в сердце попали...» – успел подумать старый чекист, ваяясь на колени и скрючиваясь. Он умер с уверенностью, что погибает в неравном бою с врагами советской Отчизны.

А Жека, закрыв дверь за взбалмошно спешившей на работу матерью, принялся названивать по телефону. Дело у него сегодня наклеивалось важное и даже, пожалуй, криминальное: он намеревался стащить у матери из шкатулки обручальное кольцо и

заложить его в ломбард. Комбинация выдалась совершенно беспроблемная: мать кольца не хватится. Вот уже семнадцать с половиной лет, со дня его, Жекиного рождения, пальцы матери стали примерно на два размера шире, чем они были в тот день, когда его молодой смущенный отец бережно надевал на пальчик нареченной обручальное колечко во Дворце Бракосочетания. Первые семь-восемь лет мать про кольцо еще вспоминала, периодически порываясь отдать расширить, но так и не собралась, и оно обрело постоянное место в самом дальнем углу большой шкатулки под огромными связками полудрагоценных бус и браслетов. За такую здоровую шайбу весом грамма четыре, не меньше, и рублей дадут, наверное, четыреста, а то и больше, рассудил Жека. Сделку с совестью он совершил легко и безболезненно: кольцо ведь он не крадет, нет. Он его через два месяца выкупит, порциями вытянув деньги из матери и отца попеременно – и спокойно положит на место. А деньги сегодня нужны были Жеке как никогда: выпускной вечер начнется в пять часов, а до того надо успеть схоронить в школе в укромном месте не менее трех бутылей – его доля в сегодняшнем празднике. С собой, прямо на вечер, приносить нельзя: наметанное око завуча распознает нателные тайники с техникой виртуоза – и за этим всегда следует унижительная процедура личного обыска с последующим изъятием контрабанды. Словом, чудный был план, только никак не желал реализовываться из-за одной маленькой неувязки: до восемнадцати лет оставалось Жеке семь месяцев, а значит, для успешного исполнения ему требовался совершеннолетний соучастник, согласный за малую мзду совершить финансовую операцию с краденой драгоценностью. Жека был честным юношей и перво-наперво просто попросил триста рублей у матери, зная наперед, что просит для проформы, ради очистки совести. Так оно и вышло.

– Да ты что, с ума, что ли сошел?! – взвизгнула мать в лицо своему смиренному отпрыску. – Мне с твоим выпускным скоро хлеба купить не на что будет! На подарок классной – сто, директору – сто, завучу – сто... Это еще игрушки... Банкет для вас – пятьсот, банкет для нас – триста... Теплоход этот ваш дурацкий (и зачем он нужен, опять кого-нибудь, как в прошлом году, из Невы вылавливать будут) – опять пятьсот. Да на костюм, да на цветы... И ты еще из меня последние копейки тянешь...

– Ну мам... – тихо гудел и посапывал Жека. – Ну ведь один же раз в жизни школу заканчиваешь... Ну вот я тебе обещаю – больше ни копейки не попрошу – целый месяц, а? Ну мам...

Но она прищурилась, издевательски улыбаясь:

– Ты думаешь, я не знаю, на что ты денег просишь? На водку просишь, стервец такой. Чтоб опять нажраться, как в Новый год, когда тебя едва нашли, охламона. В сугробе. Только ноги торчали. И ты хочешь, чтоб я еще раз...

– Да ты чо, мам, это девочкам на лимонад... Чипсы там всякие... Пирожные... Ты же сама говорила, что дамы не должны платить на вечеринках... – гнул свое Жека, чувствуя, что порет чушь, и хорошо еще, если дело не кончится затрещиной.

Мать набрала побольше воздуха и – понеслась:

– За все чипсы-лимонады-пирожные родители уже по полтысячи выложили! И за шампанское, между прочим, тоже! Решили на собрании разрешить вам в такой день выпить по бокалу шампанского! Там больше даже получить – по полбутылки, считай! И хватит, хватит вполне – и так хороши будете! Кроме того, я знаю, что всякая сволочь все равно с собой портвейн протащит! И ты хочешь, чтобы я, своими руками, своему сыну...

Дальше Жека не слушал: он уже понял, что участь ее обручального кольца решена.

Но двое совершеннолетних уже отказались, а третий – последняя надежда, зато самая верная – еще спал. Жека откинулся в кресле, с ненавистью глядя на закрытую дверь дедовой комнаты, в этот момент вспомнив еще и о том, что в десять ноль-ноль в эту комнату следует подать горячий завтрак.

«Пиастры, пиастры, пиастры!» – вдруг раздалось прямо у него над ухом. – Вот это ты в тему, Жано! – ответил довольный Жека: слову этому он сам недавно

обучил любимого попугая, и тот использовал его лишь тогда, когда хотел подластиться именно к нему, Жеке.

Старая толстая серо-синяя птица давно уже захаживала в свою всегда открытую клетку только есть, спать и гадить – а так Жано жил свободно, летал по всей квартире, обладал почти таким же словарным запасом, как и хозяева, над родителями изгалялся как хотел, зато нежно любил Жеку.

Почти такой же старый, как и дедушка, с которым он и прибыл в дом, Жано в своем мудром возрасте не только воспроизводил и запоминал почти любые слова, но и пользовался ими как нельзя кстати. Про него невозможно было сказать «попка-дурак», потому что попка был – умный. Однажды подвыпивший папин гость оскорбил матерого попугая этим гнусным словосочетанием, да еще и сделал ему при этом «козу».

– Сам дурак, – хладнокровно ответил попка, и от «козы» не попятился – зато как ошпаренный отлетел гость.

Жано не только говорил всегда «в тему», но еще и соображал, кому что можно говорить и когда. А поскольку любимцем у него был Жека, то попугай, скромно подслушав на кухне ночной тайный разговор родителей, наутро добросовестно передавал младшему хозяину общий смысл этого разговора. Вдобавок, у него замечательно выходила имитация не только голосов, но и тончайших интонаций. И если Жека утром слышал от питомца сначала глумливое «Лар-рисса Валер-рьевна», а потом надрывное «ме-еррзкая гримза», то безошибочно знал, что это мама рассказывала папе о произволе, творимом на работе ее начальницей. А когда попугай вдруг начинал подпрыгивать и вертеть гузкой, быстро-быстро повторяя папиным раздраженным баритоном «никак-не-сдохнет, никак-не-сдохнет, никак-не-сдохнет», то, значит, это снова отец сокрушался о том, что наличие прадеда в доме сулит и ему, прямому потомку, удивительное долголетие без маразма.

Собственно, это благодаря попугаю Жека догадался однажды, что его родители – обыкновенные, беспардонные лгуны. Что он, до того полагавший себя любимым дитятей нежных и внимательных супругов, на самом деле является просто бесплатным приложением к двум разочарованным в жизни, чужим друг другу и ему людям, просто сговорившимся не выставлять на обозрение миру свой тихий и приличный позор. Что папин дедушка, которого они взяли в семью жить восемь лет назад, как утверждали, с единственной целью – проявить милосердие к одинокому больному старику, на самом деле не был сдан в дом престарелых только потому, что благодаря его квартирке, соединенной с их, они в результате обмена получили квартиру, рассчитывая, что старик и полгода не протянет.

«Квар-ртир-ра пр-ропадал-ла», – донес однажды верный соглядатай.

«Маар-разма-атик», – почти шепотом, как и требовали обстоятельства, докладывал он в другой раз, после того, как только что, уходя на работу, мать серьезно растолковывала сыну:

– Как придешь из школы – дедушке дай сразу обед: ты знаешь, как он сердится, когда ты задерживаешься. И «утку», пожалуйста, предлагай поделикатней, а то что это такое, извини, значит: «Дедуля, ссать хочешь?» Поуважительней нужно к старшим относиться, тебе самому таким быть: ты весь в отца, а у них в роду полно долгожителей. Вот и представь, что ты станешь таким же стареньким, а у тебя будет такой вот, с позволения сказать, вежливый внучок...

– Да хватит, мама! – однажды не удержался многократно просвещенный попугаем Жека. – Ты ведь сама ждешь не дожدهшься, чтобы он поскорее умер, а из меня идиота делаешь.

– Жека! – очень натурально ужаснулась мать. – Как у тебя язык повернулся!

И тут Жека понял, что у каждой игры свои правила, и ЭТУ игру ему придется доигрывать по чужим; но ничего, когда-нибудь он придумает СВОИ правила и найдет способ заставить играть по ним других, и родителей, кстати, тоже.

Быть вежливым с дедушкой день ото дня становилось все труднее, потому что тот день ото дня все больше свихивался. Нет, это не было тем, что традиционно называется «старческим маразмом». Старый герой вовсе не впадал в детство, прекрасно понимал, где и в каком положении находится, узнавал окружающих, не путал назначение предметов и никогда не забывал вовремя попросить «утку» или судно. Но с каждым часом росла и росла в дедушке слепая, немотивированная, всепожирающая ненависть ко всем и всему. Эта ненависть, казалось, заменяла ему воздух – он дышал ею и выдыхал ее же, она горела холодным сизым огнем в его так и не потерявших орлиную зоркость глазах; он не мог произнести ни слова, не вложив в интонацию крайнюю степень своего единственного теперь чувства. И порой думал Жека, что ненависть эта не совсем уж беспомощна и бесплодна: возможно, она когда-нибудь выплеснется в последнем смертельном порыве – и горе тому, кто окажется у нее на пути!

Дедушка ненавидел всех: новых коммунистов на экране личного маленького телевизора («Пр-ре-едали... Пр-роср-ра-али...» – сообщал попугай); само собой, всех остальных политиков («Пр-родали-ись, пр-родали-ись»); красавиц-дикторш – («Гр-ребан-ные шл-люхи...»); а пуще всего – родного внука, его жену и их сына Жеку.

С некоторых пор Жека преданно ухаживал за стариком, добровольно взвалив на себя обязанности по кормежке, помывке и уборке, поэтому, присутствуя в комнате, слышал лишь тихое злобное бормотанье: понимал, стало быть, хитрый дед, что Жеку особенно злить не следует, чтобы ненароком не лишиться того малого, что от него получает. Но попугай, вылетев вслед за мальчиком, садился ему на плечо и расшифровывал:

– Бур-ржу-уйский выр-родок... – причем умная птица в таких случаях видоизменяла свирепую дедову интонацию на свою, словно чуть ироничную, как, впрочем, делают все, кто, наушничая, передает какую-либо конкретную гадость.

Будь Жека повзрослее, он уже знал бы, что те, кого Господь к старости наказывает безумием, сходят с ума на том, что являлось главным смыслом и целью жизни. Так выжившие из ума скряги прячут под подушкой уже не деньги и золото, а клочки бумажек, объедки и обломки – и никому не дают прикоснуться к зловонной куче, на которой торжественно возлежат.

Приворовывавшие помаленьку всю жизнь – в старости крадут у ближних булавки и блестящие обертки, срезают у дам забавные пуговицы с пальто, а потом ловко скрывают награбленное так, что порой лишь после их смерти родственники обнаруживают в хитроумных тайниках клады, вызывающие то ли жалость, то ли брезгливость...

А вот Жекин прадедушка, переживший двух жен и троих детей, всю свою жизнь проненавидел. В двадцатых, шестнадцатилетним мальчишкой-солдатенком, – увертливых белых с их благородной посадкой под стать изящному галопу чистокровных лошадей; в благословенных тридцатых – разоблаченных врагов и врагинь народа, которых он, будучи следователем НКВД, со смаком мутузил цепью с железным шаром на конце в серой комнате с шершавыми, измаранными кровью стенами; во время Великой Отечественной – пораженцев, паникеров и дезертиров – и так приятно было бравому особисту стрелять в упор из родного ТТ в их перекошенные животным страхом рожи; в менее вольготных, но тоже счастливых шестидесятых попов, правда, уже не расстреливали, но постаревший боец за правду и их в застенках бивал, случалось, смертным боем; в семидесятых-восьмидесятых, уже на пенсии, но почитая себя все еще в рядах органов, выискивал он и выслеживал недобитых врагов, получивших красивое название «диссиденты» – и сдавал тепленькими, пикнуть не успевшими...

И никуда по закону сохранения энергии не могла деться столь всеобъемлющая ненависть – вот и искала выхода, кипела зловонным паром – покуда не взорвалась... Еще неделю назад Жека мог этому только удивляться: он пока не ненавидел никого и ничего так жгуче и болезненно. Но теперь он, хотя и отдаленно, но деда понял: и в его жизни неделю назад появился человек, которого, не боясь он суда праведного (как

местного, так и высшего) убил бы с помощью того самого предмета, который спрятан был у деда в комнате в коробке из-под сапог.

Это Жека сам вычислил – где, потому что, прибираясь вокруг дедова лежбища, все осмотрел, прощупал и понял: больше нигде. И способов подобраться к коробке той Жека не видел: всегда бдел закаленный воин, чутко вздрагивая при любом шорохе рядом с заповедным местом. Затем и вызвался Жека деду в добровольные няньки, что надеялся вещь эту, раз увидев, – добыть. Понял, что родители ничего не знают – иначе давно бы отобрали у беспомощного старикана.

Однажды, года два тому, некстати сунулся Жека в комнату деда – только на щелку дверь и открыл, как сразу попятился от грозного цыка – но в щелку успел углядеть. На кровать присел дедов гость, почти такой же дряхлый, но тоже несломленный. Чуть пригнувшись к другу сидел. Вот и блеснуло на миг меж ними в дедовой руке... И сразу забухало сердце, прямиком толкаясь в горло, а потом холодным ужиком скользнуло в живот – и Жека заулыбался прямо там, в темном коридоре...

Нет, не собирался он ее убивать, конечно: охота из-за слизнячки этой потом полжизни по тюрьмам мыкаться. А вот пугнуть – пугнул бы. Да так пугнул, чтоб поседела в минуту от ужаса, чтоб жизнь свою в картинках за миг увидела бы – за такой же миг, как сама легким движением руки неделю назад испохабила его жизнь...

Такую жуткую ненависть Жеки снискала себе его молодая учительница литературы Мария Ивановна Туманова по прозвищу Сиротка – тихая, робкая, забитая обладательница несокрушимой внутренней силы и столь же грозных идеалов. Снискала за то, что, наплевав на негласное решение педколлектива не портить мальчику аттестат, спокойно вlepила ему тройку за выпускное сочинение. Не поверив страшному известию, Жека добился увидеть свою работу собственными глазами. И увидел. Увидел застенчивую, угловатую троечку, маленькую, словно стыдившуюся самого своего случайного появления в этом мире. И бледную, неровную, какую-то паутинистую, но вполне вразумительную, а главное, абсолютно правдивую подпись под ней: «Произведение выпускником не прочитано».

Сей роман в стихах величайшего из поэтов Земли, описывающий весьма тоскливые, по мнению Жеки, перемещения его тезки по этой самой Земле, и его, тезкины, страдания, какими Жеке страдать в любом случае заказано, – сей роман действительно не был прочитан. Как, прочем, и оба других произведения, предлагавшиеся в альтернативных темах. И ведь мог же он еще проскочить на халяву, взяв тему свободную – так ведь нет! Угораздило польститься на с детства знакомый сюжет, казавшийся беспрюгршным, и, уверенный в том, что в высших сферах, то есть на педсовете или, еще выше, – в кабинете директора, твердая четверка ему обговорена и обеспечена, Жека, не мудрствуя лукаво, просто пересказал в сочинении то, что когда-либо слышал, приплетя туда даже дядю самых честных правил. Но дядя в энциклопедию русской жизни первой половины девятнадцатого века органически не вписался, и бедной Сиротке, подозревал Жека, пришлось грудью встретить целый педагогический цунами, отстаивая свое вполне законное право поставить «три» там, где, строго говоря, должна была стоять единица. В результате цунами, в школе на четыре одиннадцатых класса, вместо семерых учеников, получавших аттестаты без троек, осталось только шесть.

При других обстоятельствах Жека отнесся бы к этому со спокойным юмором: такую справедливость он понимал и даже где-то ценил. Но чахлая троечка эта (о которой, кстати, родители еще не знали), вполне возможно, выворачивала его жизнь наизнанку: на бесплатное отделение того факультета, куда Жека собирался нести после школы свой аттестат, таковые принимались только без троек. И вот уже целый год едва ли не на цыпочках ходил Жека в школе, дабы случайно не прогневить кого из учителей, вызвав на себя рикошет мести в виде заниженной оценки. Стиснув зубы, он трижды пересдавал зачет по ненавистной биологии, умудрился хитростью дожать несговорчивого физрука,

зубрил ночами неправильные английские глаголы... А вот психологом плохим оказался, Сиротку в расчет не принял...

Да и как ее было принять, убогую?! Ну, учил стихотворения, отрывки прозы даже какие-то гигантские зазубривал, получал свои четверки. А ее не трогал, нет, хотя травить Сиротку считалось в школе хорошим тоном – хоть бы это отметила, гадина! И ведь знала все – про факультет, про аттестат знала: сам на всякий случай сообщил в подходящую минутку... Убогая, юродивая – а как напакостила!..

Сиротка действительно считалась слегка тронутой. Худенькая, бледная, с серым пучочком кукишем на затылке, в непомерно длинной юбке, всегда одной и той же, имевшая к ней наперечет две застиранные блузки, сменявшие по будням одна другую, плюс праздничную – дешевую китайскую с ближайшего рынка. Как за порог школы – так сразу всегда на голову неприметный платочек. Лет двадцать восемь всего – а и пальто, и плащ – старушечьи, цвета и фасона неопределенного.

– Здравствуйте, дети...

Тут уж каждый класс изощрялся по-своему: 11 «б», например, по-гренадерски рывкал в ответ:

– Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!

А 10 «а», добравшись однажды до важной информации, что Мариванна – набожная и по воскресеньям в церковь бежит, как на работу, хорошо спевшимся клиросом выпевал:

– Ии ду-ухови-и твоему-уу... – это одна бойкая девочка научила: у нее батя был священником и ездил на такой крутой иномарке, что даже знатоки нацпринадлежность тачки определить не могли.

А Сиротка не обижалась. Смиренно кивала в ответ – «садитесь» – и начинала восхождение на свою ежедневную Голгофу. Ясными глазами глядя поверх равнодушно-насмешливых голов, возносясь голосом и душою еще выше, проникновенно рассказывала она о никому не нужных писателях, которые давно померли, как померли и те, кто читал и любил их книги, об ушедших навсегда культурных эпохах – и голос ее звенел так же беспомощно, как у той девушки в церковном хоре, стихотворение о которой пришлось все-таки выучить Жеке.

Она заставляла себя не обращать внимания на мерно жужжащий и шелестящий класс, только страдальчески опускала иногда нимало не потемневший взгляд туда, где слишком громко брякала бутылка пива или уж слишком отчетливо слышался уютный девичий матерок. Был у нее, правда, один странный способ наказывать: услышав среди своей вдохновенной речи о величии русского слова шебутное треньканье «семь-сорок» чьего-нибудь мобильника, она прерывалась на полуслове. Мгновенно повисала тишина, и незадачливый абонент МТС вынужден был сбивчиво бормотать в трубку извинения при напряженном внимании всего класса. Надо сказать, что этим Мариванна добилась того, что перед ее уроками, как и перед большинством остальных, мобильники отключались напрочь.

Уроки протекали, в основном, без неожиданностей. Только иногда, когда совсем донимал ее чей-то гогот или хрюканье, когда очень близко к лицу пролетал самолетик с ярко выведенным неприличным словом – тогда ее глаза быстро и явно для всех наполнялись слезами, а голосок начинал предательски прерываться. Безобразие моментально прекращали – но не из уважения, страха или жалости, а из инстинктивного внутреннего опасения: а вдруг она сейчас опять, как в тот раз...

«Тот раз» был единственным, когда она все-таки сорвалась до конца – и это оказалось так неожиданно и страшно, что с тех пор ее старались до крайности не доводить. С того дня просто «Мариванна», потом «Монашка», потом «Урода» (что по-польски значит красавица) превратилась в Сиротку навсегда. В «тот раз» она преподносила десятиклассникам канонизированный всеми властями и партиями одинаково образ Пушкина. Тема была выбрана очень удачно: о чистоте его поэзии, в которой нашла отражение столь же чистая, только, увы, современниками не понятая и

потому тяжко раненная душа. О возвышенной любви к прекрасным женщинам речь тоже заходила и без «гения чистой красоты» дело, конечно, не обошлось. Класс, по обычаю, мерно гудел: этот ровный звук всегда сопровождает более чем десять собравшихся в одном помещении людей, каждый из которых спокойно занят своим делом. И вдруг из однообразного гула выделился один настойчивый голос:

– Мариванна! Мариванна! А можно спросить?

– А? – испуганно запнулась она, совершенно не привыкнув к тому, чтобы ей задавали вопросы любознательные ученики; но сразу ободрилась:

– Конечно, пожалуйста, Дима... – сверившись с журналом, – Платонов. Внимание, ребята, послушаем, какой вопрос хочет задать Дима Платонов.

Если бы Мариванна не была и сама так же чиста душой, как только что представляла Пушкина, то она бы почувствовала, что тишина, сразу стеной вставшая в классе, по сути своей, жутка. Потому что все старшеклассники знали, что Дима Платонов никогда еще не произносил ничего не только путного, но и просто элементарно приличного. Но он вдруг – произнес, причем даже ни разу не вставив непотребного словца-паразита:

– Мариванна, а можно мне... того – проиллюстрировать?

– Что – проиллюстрировать? – еще не веря привалившему счастью, выдохнула учительница.

– Ну как – что... Ваши слова. Вот вы сейчас рассказываете, какой Пушкин был весь из себя – того... Светлый гений... Вот мне и захотелось стихотворение прочитать... – Дима невинно смотрел в глаза Мариванне своими широко распахнутыми во всю безмерную пустоту голубыми глазами.

– Чье? – на всякий случай поинтересовалась она.

– Как – чье? Пушкина, конечно. Вот отсюда, – и Дима показал один из трех красных с золотом томиков.

Тут бы ей и насторожиться. Заметить, наконец, что тишина в классе уже сгустилась до осязаемости, что Оля Торопова отчаянно тянет Платонова сзади за жилетку вниз – а Оля Торопова ничего не делает зря...

Но Мариванна, наверное, решила, что сегодня ей, наконец, удалось – с помощью гения, конечно, – достучаться до сердца громилы-двоечника Платонова, задеть его великим словом, вдохновить на поступок...

– Конечно! – восторженно обрадовалась она. – Пожалуйста, Дима, начинайте...

А томик-то не зря был подобран из собрания вполне академического. Даже сама перед собой Мариванна ухитрялась закрывать глаза на то, что Алексансергеич иногда позволял себе некоторые... вольности. Причем такого рода, что в академических изданиях их приходится заменять многоточием. Но искушенный глаз всегда мгновенно расшифрует нехитрую тайнопись и, при желании, любой может процитировать стихотворение во всей его полноте. Но Мариванна всегда смущенно отводила глаза от сомнительных мест, боясь случайно – догадаться и хотя бы про себя – но озвучить милую шалость поэта... Дима же Платонов не побоялся озвучить и вслух. Причем не только вслух, а – громогласно и – абсолютная неожиданность – с выражением.

И тишина за миг разрядилась взрывом. Неизвестно даже, что именно вызвало такой приступ хохота: сами ли давно известные всем строки, способ декламации или перекосившееся, как от удара в поддых, лицо учительницы. Он все нарастал, этот гомерический рев – а она стояла у зеленой доски, словно внезапно нагая перед всеми. И вдруг схватилась за горло обеими руками. Привстали передние парты. Быстро откатилась затихающая волна смеха. Подавились последние истерические хмыки, и в замогильной тишине зазвучал, пресекаясь посекундно, голос Мариванны:

– Я... сирота... Уже неделю как... сирота... Ни отца, ни матери... Никого... А вы – сироту обижаете... Вы... не смеете! Грех это... Непрощенный... За меня заступиться некому... Вас Сам Бог... Накажет, – она задохнулась и дымчатой тенью метнулась из класса.

Минуты три, пока не рухнул освобождающий звонок, тишина в классе не нарушалась даже громким дыханием. А само происшествие настолько не подлежало осмыслению, что о нем, как по уговору, не упоминали ни разу прямо. Косвенно же оно запечатлелось на скрижалях школы в навечном прозвище Сиротка.

И вот эта-то Сиротка неделю назад, вскинув на стоящего перед ней трясущегося Жеку спокойные и светлые глаза, застенчиво говорила ему:

– Жень, вы тоже должны меня понять. Заведомо зависить вам оценку я не могла: это противоречило бы моей совести. Не стану скрывать: меня просили и даже... убеждали... Но есть вещи, которые для меня... неприемлемы...

В тот момент Жека уже знал, что изменить ничего невозможно, что даже подача апелляции в данном случае смешна. Им двигало только желание высказать ей свое презрение, ранить ее, как она его ранила – из принципа. Теперь и он шел на принцип – достать ее еще раз, как тогда достал Платонов, чтоб с ней произошло что-нибудь такое, чтоб ей опять прозвище сменили! Кроме того, несмотря на то, что впереди ждали еще два экзамена, он ощущал полную безнаказанность абсолютно всего – разве что ударить ее он пока не рискнул бы. Она так любит слово? Вот он сейчас с ней и разделается – словами...

– А вашей совести не противоречит – сломать человеку жизнь из-за того, что он не прочел всего одну книгу? – зло спросил Жека, разгоняясь на дальнейшее хамство. – Не заест вас ваша хваленая совесть, когда вы будете знать, что вы всю мою мечту – с детства! – испоганили? Родители ведь мои платное отделение не вытянут. По шмоткам моим можете убедиться. А это значит, что мне, чтобы в армию не загреметь – не туда идти придется. Не туда, куда с детства душа рвалась! А вы... стерва... все перечеркнули одним махом. Принципы у вас... Да морду бьют за такие принципы! – вроде уж и достаточно нахамил Жека, а все не то, не удавалось размазать ее одним словом, как она его – одним движением.

Но Сиротка разволновалась, щеки ее вспыхнули, и она сама в благородном запале подсказала ему нужное слово:

– Ни туда, ни в какое другое место... Никуда по-настоящему не годятся люди, не знающие и не любящие русскую литературу. Они ничего не могут и не значат, потому что на нашей глубоко нравственной литературе стоит...

– Зато на тебя ни у кого не стоит, – громко, отдельно и похабно произнес Жека. – Оттого ты и бесишься. Удавить бы тебя.

Произнеся это, он сразу же испугался чуть не до медвежьей болезни, поэтому, позабыв даже взглянуть в ее лицо и убедиться, что оскорбление дошло по назначению, Жека круто развернулся и спринтерски рванул из учительской...

...Он набрал номер еще раз и – о, радость! – спавший, оказалось, проснулся. Пару минут послушав Жеку, он быстро согласился войти в долю, причем запросил по-божески.

– Там в десять открывается! – возопил счастливый Жека. – Так я сейчас деда покормлю быстро, и к тебе с шайбой!

– Да не гони лошадей, – лениво отозвалась трубка. – Мне нужно побриться, принять ва-анну, выпить чашечку коффе...

– Ладно, тогда в одиннадцать, – покладисто согласился Жека и, во избежание дальнейших недоразумений, быстро нажал пальцем на рычаг.

Еще держа трубку в руке, подмигнул Жано:

– Всё, друг, на сегодня пиастры обеспечены.

– Пиастры! Пиастры! Пиастры! – с готовностью поддержал тему попугай.

Жека неторопливо заварил свежий – старый дед не терпел – чай, развел горячим молоком два пакетика фруктовой овсянки, осторожно разрезал бублик с маком вдоль и щедро намазал сливочным маслом оба получившихся кольца: покушать старик любил и челюстями на присосках всегда работал бойко. Да, а «утка»-то! Сполоснул ее на всякий случай и, по-ресторанному водрузив поднос с завтраком на пятерню одной руки, а другой волоча за горло неуклюжий стеклянный прибор, толкнул дверь дедовой комнаты. Дверь

находилась прямо перед кроватью, но никакого дедушки на кровати не было. Он лежал, свернувшись в крендель и неловко спрятав руки под себя, на полу, за изголовьем, неожиданно маленький и трогательный в своей пижаме и... тапочках. Остолбеневший Жека не сразу и понял, что обутые ноги могут означать только одно: дед не свалился с кровати, а встал, обулся, да еще и прошел за изголовье, где и упал. Об этом Жека подумал гораздо позже, а в первый момент он тоненьким детским голоском задал наиглупейший вопрос:

– Дед, ты чего, а? – и, хотя, еще задавая его, знал, что не получит ответа, добавил: – Умер, да? – второй вопрос превзошел глупостью непревосходимый первый.

Прадеда Жека не любил и покойников не боялся. Поэтому первый шок отпустил его уже через минуту, уступив место новому интересному вопросу: что теперь делать? Ответить было легко даже такому придурку, каким показал себя в последние минуты Жека: позвонить родителям на работу. Потом пробила шальная мысль о том, что сегодняшней выпускной для него накрывается медным тазом. После – что нет, не накрывается: сейчас приедут родители, вызовут, кого следует, тело увезут в морг, горя в семье явно не намечается – так чего ради родителям портить единственному сыну единственный праздник? При мысли о родителях рядом выросла и другая: дурак. Правда, ему сначала действительно немного мозги отшибло, но после-то мог вспомнить! Хорошо хоть, вообще не забыл! А то предки бы враз вещь изъяли! Только тут он догадался поставить «утку» на пол, а поднос на столик. Все-таки раз опасливо покосившись в сторону тела, Жека ловко нырнул под тахту и выудил заветную коробку. Раскидал какое-то тряпье, бумажки, мелочевку. И убедился, что в коробке больше ничего нет. Пошарил в ней еще – будто иголку в стоге сена искал! – потом вывернул все на пол. Стоп, так не годится предки сразу поймут, что что-то искал. Сгрести все обратно. Перепрятал, старая сволочь. Ничего, найдем. Так, спокойно... Подумать не торопясь. Кровать. Руками ее. Так. Под матрац посмотреть... Пусто. Господи, да куда ж тут еще прятать-то! Полки, два столика, телевизор – всё на виду! Одежда деда в общем шкафу в другой комнате. И ведь где-то здесь спрятано! Тайник он, что ли, сделал? Половицу содрал? Тьфу ты, какая половица, это линолеум! Не стену же продолбил! Нету, конечно. Сбагрил дед. Может, тому чуваку отдал, который тогда сидел? А может, вообще не его был, а чувака? Родители бы знали... Или нет? На кой им в чужом барахле рыться? В растерянности Жека не заметил, как присел на корточки рядом с трупом, будто надеясь, что тот напоследок соберется с мыслями и расскажет. Собственно, разочарования большого не было: не имел раньше Жека такой вещи – ну, и не займет никогда. Померещилась удача, да мимо проскочила. Бывает. Зато прок есть: не зря же он два года пропадал в школьном подвале, в тире, где стрелять научился так, что подбрось только монетку – и... Пригодиться может. И уже добродушно он тронул мертвеца за плечо:

– Ну что, старый пердун? Фиг теперь из тебя что вытащишь, а? Но то ли Жека закоченевшее плечо случайно подтолкнул сильней, чем нужно, то ли в неустойчивом положении находилось тело – но только оно вдруг мягко перекаатилось на спину. Самурай не расстался и в смерти со своим мечом. Старый чекист мертвой хваткой держал в прижатой к сердцу руке вороненую рукоять...

Спрятав обретенное сокровище понадежней, Жека вспомнил, наконец, и о родителях, и о телефоне, и о том, что на одиннадцать сам же и забил важную стрелку. Первым делом набрал рабочий номер матери, но, услышав ее голос, растерянно замер: у Жеки не было еще опыта чужой смерти, и он совершенно не представлял – как именно следует о ней сообщать.

– Ну давай скорей, что тебе надо, тут телефон ждут, – раздраженно бросила мать. Жека встретился с понимающим и словно сулящим поддержку взглядом попугая. – Мам, понимаешь... Тут такое дело... В общем, дед-то наш... Ну, да чего там говорить... Помер...

– Стар-рый пер-рдун, – сказал как отрезал Жано.

С третьей попытки Маше Тумановой удалось, наконец, отодвинуть от стены трехстворчатый шкаф. При первой шкаф чуть не рухнул плашмя на столик с крошечным телевизором, уже перемещенный в центр комнаты, а при второй едва не похоронил под собой Машу. Она отдышалась и быстро глянула на свои золотые наручные часики, последний мамин подарок: стрелки как раз слились в одну и указали на двенадцать. Маша отерла мокрое от усилий лицо ладонями и огляделась. Комната являла собой настолько удручающее зрелище, что сердце сразу сжалось в маленький грустный комочек. Нет, не успеть, ни за что не успеть. И, главное, как потом поставить шкаф обратно?

– Как это – не успею? – вслух подбодрила себя Маша. – С Божьей помощью... – и тут же поймала себя на мысли, что, если б эта помощь выразилась в ниспослании четы ангелов, временно материализовавшихся в пару рослых неутомимых подручных, то она бы ничего не имела против.

Маша чуть помедлила, словно действительно надеясь, что вот-вот подоспеет подмога, затем тряхнула головой и отдала себе волевой приказ начинать. Легко сказать – начинать: положение было точно таким, как когда люди беспомощно разводят руками и упавшим голосом лепечут: «Не знаешь, за что и взяться...». Нарядные, не распакованные еще рулоны обоев, похожие на аккуратную поленницу, лежали у стены. Клей-трехминутка был вполне готов, привлекателен и надежен на вид. Круглое ведерко шпатлевки по соседству с девственным шпателем вызывало противоречивые чувства, потому что начинать, по всей вероятности, следовало именно с него.

...Сначала Маша хотела только оторвать от стены уже отклеившиеся кусочки старых обоев, аккуратно залепить те места газетой, а новые «обойчики» наклеить прямо поверх: не евроремонт же у нее!

Но едва она легонько потянула за первый приглянувшийся уголок, как он послушно сам отделился от стены, будто приглашая дернуть. Маша дернула – и начался кошмар. В ее руках маленький клочок грязной бумаги мгновенно превратился в угрожающе расширяющуюся книзу ленту и, когда Маша, зажмурив глаза, завершила рывок, то послышался зловещий треск, взметнулась серая пыль, и почти целый лист обоев оказался у нее в руках. Мало того – он выворотил из стены куски штукатурки – каждый размером с хороший кулак – и теперь обнаженная стена перед Машей выглядела так, словно в нее попал миниатюрный артиллерийский снаряд. Еще не сообразив по неопытности, какую проблему создает своими руками себе на голову, Маша примерилась еще к паре-тройке привлекательно обвисших уголков. В результате обвалился почти целиком один угол комнаты, и другая стена продемонстрировала такую же омерзительную сущность, как и первая. Маша приняла единственно правильное, но несколько запоздалое решение ничего больше не отрывать, а все торчащее приклеить обратно. Потом, непрестанно чихая от вездесущей пыли, она выметала, выгребала и выбрасывала. После этого, надрываясь и обливаясь жарким потом, передвигала мебель на середину комнаты, выиграв напоследок азартную битву со старинным добротным шкафом, лишь после победы осознав напрасность борьбы: за шкафом вполне можно было и не клеить, сэкономив на этом не только обои, но и значительную часть собственных, уже изрядно подорванных сил. «И надо же было именно этому дню выдаться таким чудовищно жарким!» – чуть не плакала Маша, руками запихивая серую липучую шпатлевку в зияющие бездонные дыры на стенах и бестолково возя по ним быстро превратившимся в твердый кусок непонятно чего шпателем... Работа, казалось, не продвигалась совсем; Маша билась вдоль стен, закусив губы – грязная с головы до ног, в мокром, безнадежно испорченном халате, с каждой секундой чувствуя, что пропадает... Она боялась, что сейчас швырнет шпатель в одну сторону, отфутболит ногой ведерко в

другую, сядет на пол и зарыдает от бессилия... Ну нет, контроль над собой она больше не потеряет! Хватит и одного раза – на том уроке растреклятом!..

У каждого из нас обязательно есть несколько воспоминаний, причиняющих душе примерно такую же боль, какую раскаленный утюг может причинить телу. Но если по-настоящему значительной физической боли иной и может в жизни избежать (для этого достаточно лишь самому не напрашиваться на неприятности, вовремя лечить зубы и чаще глядеть себе под ноги) – то вот боли душевной, пронзительной до звезд в глазах, не избежал, пожалуй, еще ни один человек разумный. Он же – человек гордый, потому и боль, за редким исключением, навечно застревает в душе тогда, когда ее унизили. О степени гордости человека можно судить, только если удастся вырвать у него тайну самого кошмарного воспоминания жизни – и чаще всего им окажется момент колоссального унижения. И вот уже два года, как Маша с ужасом поняла, что не день странной смерти молодой еще матери-подруги останется для нее навсегда ужаснейшим днем в жизни, а мелкое происшествие на уроке неделю спустя... Она уже может без слез вспоминать и даже рассказывать другим, как вышел к ней врач – молодой, равнодушный, с модной небритостью, и, ровно никак не изобразив даже необходимого профессионального сочувствия, сообщил о смерти ее матери, как о проигрыше глубоко безразличной футбольной команды. Как ее, Машу, ослепшую от слез, за плечи вела по коридорам больницы незнакомая женщина из посетителей, с которой вместе они потом и застряли в лифте над бездной между десятым и одиннадцатым этажами...

А вот голубые (как, говорят, у всех негодяев) глаза Димы Платонова, когда он, с позволения сказать... – нет, нет, хватит, а то она опять задохнется, чего с ней ни раньше того дня, ни позже не бывало – и расклеится, и дело встанет... Ну, пусть оно встанет разве что на минуточку, что ей потребуется достать из кармашка телеграмму и перечитать: «Прибываю утром вторник Москвы жди дома семь утра целую Игорь». Телеграмма ждала ответа куда-то в Москву, но Маша так растерялась перед нетерпеливо гарцевавшим почтальоном, что начала мучительно и непоправимо заикаться. Поэтому из сотен слов, имевшихся у нее на такой случай, из которых каждое было самым важным и требовало немедленной реализации, ей удалось выбрать всего одно, зато удачайшее: "Жду". ...Эта была ее последняя, но едва ли не единственная вечеринка у людей, не входящих в их с мамой дом: пригласила бывшая одноклассница, уж года три как потерянная из виду, но однажды с приветственным бульканьем налетевшая на Машу откуда-то из-за колонны Казанского собора. Мать, тогда уже начавшая прихварывать, провожала дочку в «чужие» гости, будто снаряжая, по крайней мере, на машине времени в злосчастную Гоморру.

– Маша, ты эту юбку не наденешь. Я вообще не понимаю, зачем у тебя эта юбка... Милый мой! – то было ее особое выраженье для упрека. – Ты же, слава Богу, не на подиуме выступаешь, куда коленками-то щеголять!

– Мама! – неожиданным басом упиралась Маша. – Ну, длинная та юбка, длинная! Не в церковь иду – к людям!

– Не-ет, милый мой! – упрек грозил переродиться в угрозу. – Если в церковь в одном, а к людям в другом – то это двуличием называется. И человекоугодием. И что там эти люди себе думают – то их дело, а мое – это чтоб про дочку не сказали, что она коленками мужчин завлекает.

– Ну, мама! Не собираюсь я никого завлекать! Зато не хочу, чтоб про меня сказали, что я – в мои двадцать шесть – синий чулок и старая дева! – доказывала Маша, боясь слишком разгорячиться и тем склонить маму отменить едва вырванное разрешение дочке маленького развлечения «на стороне».

«Стороной» она называла любые контакты дочери, происходившие без ее присутствия и благословения. Дочь никогда не возражала – наоборот, с годами все отдаляются, а она все тесней и тесней жалась к матери. В девицах, правда, засиделась, но да это, может, и к лучшему: в наше время соблности христианский брак – дело почти немислимое: то там, то здесь перед Господом слукавишь, особенно в вопросах

чадородия... Поэтому лучше и легче материнскому сердцу видеть дочь одинокую изначально, чем брошенную с дитятей и разбитым сердцем... Она не колебалась с ответом:

– Э-э, милый мой... Не бывает дев старых и молодых. А бывают мудрые и неразумные. Ты, милый мой, сегодня что-то ко вторым ближе. А там глядишь и как бы перед закрытой дверью не оказаться...

Маша почувствовала, что мама явно гнет к тому, чтоб твердой заботливой рукой немедленно вернуть дочь в первую категорию дев, а для того все же не рисковать пускать ее сегодня одну в сомнительное предприятие.

– Мамочка, ну, пожалуйста! – взмолилась бесхитростная Маша, так и не догадавшаяся ни прилгнуть, ни подлукавить. – Я ведь все-таки не школьница, а... учительница, – она мило покраснела. – И потом, когда тебе было двадцать шесть, у тебя уже была я, и мне было пять. А меня ты все, как первоклашку, за ручку водишь. Ну, не в Содом же я еду, а в нормальный дом в гости!

– Теперь уж не очень-то и отличишь – где нормальный дом, а где Содом... – горестно срифмовала мама, но сопротивляться перестала, только тревожно следила ланьими глазами за радостными сборами дочки.

Маша знала, что тревога эта диктуется не мелочным материнским эгоизмом – пусть-де дочка подольше дома посидит, да при мне побудет... Волновалась мама из-за того, что, обретя через скорби Бога и открыв Его для дочери, она боялась, что каждый ее шаг из-под маминого крыла в забесовленный мир может стать и первым шагом от Бога: от послабления – к расцерковлению – к равнодушию – к отторжению...

Но Маша видела, как уже облетает ее по-настоящему так и не расцветшая молодость, от которой она не оторвала ни одного цветка в виде хотя бы праздника: и ее, и мамины дни Ангела и Рождения однозначно выпадали только на Великий Пост, светские праздники отвергались по определению, а на двенадцатые собирались в их однокомнатной квартирке опрятные безвозрастные богомолки за чаем и безвредными сплетнями, или они сами шли с букетом цветов в такой же целомудренный женский дом – где все, конечно, любили тихую хорошенькую Машеньку, но где она чувствовала, что уже и сама начинает терять возраст – впрочем, в вечности нет времени...

...Мороз стоял такой, что почти мгновенно онемели ноги, а голову под теплым платком начало ломить у висков. Черный ночной воздух казался жестким и колючим, его с трудом приходилось проталкивать в себя как хрусткую вату. Вдобавок, до закрытия метро оставалось полчаса. «Полчаса отчаянья, – убито произнесла Маша про себя, едва поспевая рядом с ним по скользкому бугристому тротуару где-то среди хрущевок Дачного. – Господи, вот сейчас пройдут эти полчаса, и на метро мы, конечно, успеем, и я больше его не увижу». Они поспешали сначала вдоль железной дороги, и Маша почему-то запомнила, как шустро протрещала мимо быстрая электричка, потом свернули на унылую улицу с редкими туманными фонарями, и он неловко пошутил насчет возможного открытого люка, а она насильственно улыбнулась, позабыв, что все равно темно, и улыбка пропала втуне – и тогда Игорь вдруг остановился, вынудив ее рефлекторно застыть тоже – и спросил словно бы недоуменно:

– Слушайте, вы что, действительно хотите успеть на метро?

Наступил тот неповторимый таинственный миг, когда одним словом меняется – или остается прежней – судьба, миг исключительной правдивости, не терпящий и тени лукавства, – и Маша сумела распознать и оценить его.

– Нет, – просто сказала она. – Наоборот, я совсем не хочу туда успеть. Маша впервые в жизни напрочь забыла о своей бедной маме, которая в ту минуту, верно, уж не надеялась увидеть свою дочь живой или, по крайней мере, прежней. Как выяснилось позже, гораздо позже, она к тому времени успела представить себе самое страшное: Машенька выпила целый бокал вина – конечно, разве можно устоять неопытной девочке среди таких грозных соблазнов! – и теперь, безобразно пьяная и

оттого беспомощная, так и не добравшись до метро, погибает, если еще не погибла, где-то на одной из зловещих улиц их преисподнего города...

Еще более страшной правды мама так никогда и не узнала: вино на вечеринке отсутствовало вовсе. Зато одна за другой волшебным образом появлялись голубые, будто из хрустала, бутылки заморской водки. Первую рюмку Маша опрокинула, зажмурившись, с ощущением, что губит свою бессмертную душу – ибо сейчас, конечно, умрет на месте без покаяния. Но когда выяснилось, что ядовитое зелье не только не оказало своего губительного действия, но и вообще ничего не изменило в худшую сторону, она с восхитительным чувством освобождения отныне и навсегда, уже с толком, с расстановкой распробовала вторую порцию. А, потянувшись за третьей, даже осмелилась поднять взгляд на мужчину напротив и столкнулась с внимательно и как бы одобрительно изучающими карими глазами молодого человека, представленного ей, помнится, Игорем. Машина рука невольно изменила направление прямо над столом, удачно убедив безмолвного визави, что ее хозяйка всего лишь хотела побаловаться бутербродом с черной икрой. Но это изысканное лакомство Маша пробовала впервые, и лишь только оно оказалось во рту, – а она с размаху отхватила зубами изрядный кусок – то выяснилось, что ни жевать, ни, тем паче, проглотить эту скользкую, воняющую сырой рыбой соленую мерзость она не сможет даже под дулом... Выплюнуть в салфетку?! А если кто увидит?! – и тут к горлу подступила тошнота, сердце заколотилось.

– Быстрее, – раздался спокойный шепот совсем рядом. – Туда.

Игорь ловко и деликатно подхватил Машу под локоть и, артистически минуя разбредшиеся по комнате неясные человеческие фигуры, в одну минуту доставил ее прямо к помойному ведру на кухне, а сам вежливо отвернулся. Маша быстро выплюнула гнусную кашу и стала неторопливо оборачиваться, всей душой желая, чтоб сзади никого не оказалось. Но Игорь честно стоял у стены, демонстрируя ей красивую невозмутимую спину. Маша решилась робко кашлянуть, и тогда мужчина обернулся с обаятельной всепонимающей улыбкой.

– Нехорошо получилось, – сочла нужным пояснить Маша. – Я и представить себе не могла, что это такая гадость. И как только она людям нравится?

– На вкус, на цвет, – начал он.

– ...товарища нет, – закончила она, и оба поняли, что говорят наибанальнейшую банальность.

Тем бы все, наверное, и закончилось, думала впоследствии Маша, если б Игорь на обратном пути в гостиную не вызвал в ней острую симпатию, бросив мимоходом:

– Не думайте, что я вам указываю или навязываюсь. Но только пить вам сегодня больше нельзя – ни грамма – иначе очень скоро вы не оберетесь неприятностей.

Он констатировал факт и исчез, подтвердив тем самым свою ненавязчивость, и все-таки это именно из-за его подразумеваемого присутствия где-то в ближнем пространстве Маша так и не ушла домой в десять часов, что было, по крайней мере, раз пять торжественно обещано маме – а просидела до полуночи, пока все не начали скопом прощаться, толпясь в прихожей и беспрестанно упоминая слово «метро». И то, что до этой магической точки в ее провожатые вызвался именно Игорь, Маше не показалось ни странным, ни пугающим: она чувствовала себя блудным сыном, только что интимно потрапезничавшим с толстыми и очень милыми розовыми зверушками, но вовсе не торопящимся под теплую кровлю отчего дома.

...Ее честный ответ, паче чаяния, не удивил Игоря (Маше даже послышалось нечто вроде «Я так и думал»), но он не спешил предпринимать меры к довершению падения неразумной девы, к чему обязан был немедленно приступить, по словам хорошо знающей жизнь мамы, и на что Маша, почитавшая себя после своей сегодняшней безумной оргии конченным человеком, уже была вполне внутренне согласна.

А Игорь, казалось, и не собирался везти усмиренную жертву кутить «в номера». Он вдруг произнес нечто такое, что Машу в какой-то степени даже разочаровало:

– Тогда давайте просто спокойно прогуляемся по бульвару до проспекта, а там поймаем машину и доставим вас домой с комфортом.

– Я с мамой живу, – доверительно сообщила Маша, намереваясь этими словами сразу расставить все по местам.

Он, казалось, задумался.

«Так, сейчас перспектива ехать в машине отпадет, и он либо бросит меня прямо здесь, одну посреди улицы, либо пригласит к себе», – решила за него Маша.

– Тогда нам нужно все-таки немного поторопиться, – рассудительно заметил Игорь. – А то она там за вас, наверное, волнуется.

Тут Маша сложила в уме и убедилась, что уже второй раз в жизни ей безразлично, что именно делает или думает в ту минуту мама...

Мрачный, темный, убогий район, лютый и все продолжающий крепчать морозище, не сгибающиеся в перчатках пальцы – все это чудесным образом приобрело привлекательность и даже доставляло явную радость. «Как здесь, наверное, днем мило, тихо, спокойно! – подумалось Маше. – И какая зима в этом году красивая – такая настоящая, русская, прямо как из "осмнадцатого века"! Вон, даже пальцы приморозило... Хорошо-то как!».

Она доверчиво протянула Игорю обе растопыренные лапки в тонких шерстяных перчатках и пожаловалась:

– Все хорошо, только пальцы очень щиплет... Мороз прямо как в восемнадцатом веке...

– Как у вас в восемнадцатом веке, хотите вы сказать? – улыбнулся Игорь. – Вы ведь прямиком оттуда, да? У нас тут, знаете, в двадцать первом, такие девушки уже... не попадают.

– Но я же вот есть! – вырвалось у Маши.

Нерешительным движением Игорь соединил Машины ладошки и осторожно захватил их со всех сторон своими крупными чуткими руками без ничего. Мечтательно глядя куда-то мимо Машиного плеча, он пропел-продекламировал:

– *Чернь цвела.../ А вблизи тебя дышалось воздухом Осмнадцатого Века...* Это не про Стаховича, а про вас сегодня.

Маша вздрогнула и стремительно повернула к нему голову:

– Как... как вы сказали?

– Это Цветаева, – чуть недоуменно вскинул брови Игорь. – Я думал, вы знаете.

– Игорь, я... Я не только знаю... Это мое – любимое... Это – сокровенное... И именно об этом я – сейчас... И именно это – вы... Это – не совпадение, то есть, это – да – совпадение, то есть, я – ни в какие совпадения – не верю... – потеряв голову от впервые грянувшего над ее жизнью такого грома, Маша не заметила, что инстинктивно перешла на цветаевский язык, но именно он сейчас гармонично выразил то, что она сама ни при каких условиях выразить не смогла бы.

Медленно плыли мимо одетые в иней деревья, и в резком, почти оранжевом свете фонарей причудливо мешались краски зимней ночи, и стрелой летел наискось через бульвар веселый легконогий пудель за далеко брошенной хозяином-полуночником длинной светящейся и крутящейся палкой, и мех Игорева шапки, посеребренный зимою, позолоченный электричеством, казался мехом самого единорога, помянутого Давидом...

– Если вы – все поняли, если вы – вообще все понимаете – или чувствуете – ах, нет, не чувствуете – а – владеете знанием сокровенного, в других – сокровенного, и умеете это сокровенное никак не – ранить, а – возвысить, и человеку – его же сокровенное – протянуть, как хлеб – на ладони, как сегодня вы протянули мне – этот хлеб насущный, но не тот, о котором мы молимся – «даждь нам днесь» – а другой, надсущный, который не превратится обратно – в камни... – в таком духе говорила Маша всю дорогу до проспекта и не заметила, как сели в машину на заднее сиденье, напрочь не воспринимала материальных предметов – ведь не могли же быть таковыми его чудные глаза,

вместившие в себя каждый – по половине сегодняшней нездешней ночи, и говорила только в эти глаза, пропуская мимо ушей его ответы, лишь зная, что они согласуются с ее словами единственно правильным и возможным на земле образом...

Потом Маша очень корила себя за подобную невнимательность, потому что в результате от ночи той остались лишь несколько его фраз, глаза, да еще то, самое навеки главное, – а остальное было только ее ощущениями – восторга, полноты, полета и еще чего-то такого, чего, она знала, дважды в жизни не испытывают.

Маша осеклась как проснулась. Машина стояла у подъезда ее дома с одним циклопическим глазом – окном их комнаты, а к стеклу – скорей всего, метнувшийся на звук машины, – с той стороны приток до последнего изгиба знакомый силуэт...

– Мама... – опомнилась и ужаснулась Маша. – Господи!

Игорь уже подавал у открытой дверцы руку. Она инстинктивно вложила туда свою, всем существом нацелившись на черный прогал двери, но он стиснул ей ладонь, почти насильно не выпуская, и Маша заметила, что другая его рука воздета к зеленоватой громаде неба. Игорь заговорил быстро и внятно:

– Ковш видите? Медведицу? Да? Две последние звезды ковша? Они называются «пинчеры». Вот от них теперь смотрите туда, по прямой. Видите звездочка? Видите? Как называется – знаете?

Уже онемевшая от переживаний Маша все кивала, а потом раз помотала головой.

– Полярная. Указывает точно на север. Вот туда я и уезжаю. Скоро и надолго. Но я вернусь и обязательно приду сюда к вам. Верите?

Маша перепутала и опять помотала головой, но быстро поправилась и глубоко закивала, как пони в цирке.

С минуту Игорь смотрел на нее со странным ускользящим выражением, а потом вдруг нагнулся и поцеловал ее – не в губы – рядом. Маша судорожно хватанула ртом густой колкий воздух, пошатнулась, удержалась и, ничего не видя, ринулась в свой подъезд...

Но не будь этого последнего – знала она теперь – он не смог бы сейчас, два с половиной года спустя, подписать телеграмму так трепетно просто, как если б писал жене: целую, Игорь. Те, кто передавал ей сегодня эту благую весть, наверное, так и подумали...

Получив в восемь часов утра телеграмму, ничуть не удивилась и не испугалась Маша Туманова. Когда схлынула первая волна яркой радости, она еще раз с пылом укорила себя за появившиеся в последние месяцы сомнения. Где-то с февраля ее действительно начала посещать поганая мыслишка о том, что виденный раз в жизни возлюбленный мог давно уже позабыть об обещании, данном два года назад под впечатлением необычного момента. Но Маша каждый раз сурово осаживала себя: «Не слушай, не слушай. Это не твоя мысль, это лукавый нашептывает». «Да, а где же тогда твой ненаглядный суженый?» – отвечал тотчас ехидной скороговоркой, как была раз и навсегда убеждена Маша, приставленный к ней для соблазна злой дух. Он, наверное, уже с готовностью развертывал свою измятую хартию, чтоб грязно намарать на ней страшное слово «уныние», но не на ту напал: всякий раз, стиснув кулаки и преодолевая невыносимое щипание в носу, Маши истово шептала: «Верю!» – и вновь выпадало острое стило из когтистых мохнатых лапищ. Но с каждым новым утром, то вливающимся в окно разбавленным молоком, то вдруг расстилавшим на полу золотой солнечный коврик, все ясней и ясней становилось Маше, что любимому следует все-таки немножко поторопиться. Конечно, если б она решилась раскрыть кому-нибудь сладкий секрет своего тайного невестничества, то добрые люди давно подняли бы ее на смех. Маша дурочкой не была и горькую эту истину отчетливо понимала, как понимала и то, что объяснить все и склонить к сочувствию можно только человека, также раз пережившему сокровенные минуты пакибытия – но таковые, если и имелись в Машином окружении, то себя не выдавали...

А телеграмма все-таки пришла сегодня, парким июньским утром, доказав Маше лишний раз то, в чем она и без того была уверена: вера и верность получают награду уже

здесь, на земле, – и заставив поджать шелудивый хвост ее личного посрамленного завистника.

Но каким бы солнечным ни выдалось утро, каким бы добрым и ободряющим взглядом ни смотрели на Машу с детства знакомые предметы в комнате – ничто не могло заслонить ветхости и убожества длинного и узкого, как трамвай, помещения. И если мебель можно было наскоро обтереть, на стол постелить нарядную скатерть, подаренную год назад родительским комитетом, выстирать с хлоркой бурый тюль на кухне, замаскировать печать общей мрачности и неказистости жилья с помощью разных вазочек и статуэток, – то серые, растрескавшиеся по всей длине и кое-где повисшие унылыми собачьими ушами обои не оставляли никаких сомнений. Было только одно крайнее, но неизбежное средство: немедленно поехать в магазин, купить все потребное и оклеить комнату по новой. Невозможно было допустить, чтобы Игорь, вернувшийся из сурового края, истосковавшийся по красоте и уюту, увидел вдруг свою возлюбленную из «осьмнадцатого века» в этой грязной и безнадежной трущобе! Игорь рисовался Маше обладателем какой-нибудь мужественной и уважаемой профессии, исключавшей, однако, существование налаженного быта холостяцкой жизни, а значит, Машиному дому суждено было стать для него чем-то вроде оазиса мира, покоя и ласки в его суровом мужском служении, сопровождавшемся большими и малыми подвигами...

Изначально однокомнатная квартирка в бывшем общежитии для работников речного порта была получена бухгалтером этого порта Мариной Петровной, Машиной мамой. Тогда здесь, по соседству с Уткиной Заводью, бурлил жизнью целый поселок речников, обретших скромное жилье в нескольких трехэтажных с деревянными лестницами зданиях. Такие мелочи, как отсутствие ванной, телефона и горячей воды не могли смутить счастливых, прибывших, в основном, из сырых и чуть ли не тифозных бараков с земляным полом. Марина Петровна, правда, приехала из трехкомнатной благоустроенной квартиры в центре города, но зато там ее три года как травили и тиранили мать и старшие сестры, и тиранили по делу, так как Марина однажды принесла в дом завернутого в чужое фланелевое одеяло бастарденыша Машу.

Машин отец, как водится, водилось и водиться будет до скончания века, дочь не признал, Марину обозвал и обеим на его порог боле показываться не велел. Поэтому выделенная сочувственным начальством однокомнатная квартирка показалась Марине едва ли не землей обетованной, и она быстро и ловко наладила там вполне сносное и даже приятное свое с дочкой житье-бытье...

Пятнадцать лет назад грянула нежданная-негаданная радость: их дом, к тому времени уже совсем обветшалый и, как старый тулуп, во многих местах прохудившийся, первый в поселке подвергся основательному ремонту, что еще года два вызывало мучительную зависть у обитателей обойденных судьбой домов: за них почему-то приниматься не торопились. Всю проблему решили одним махом: вдруг откуда-то пришло распоряжение снести весь жалкий поселок, а жителей расселить в новые отдельные квартиры со всеми удобствами – хотя и где-то в спальном районе с непроизносимым названием, зато с количеством комнат по числу голов в каждой семье. Жители поселка, давно жившие почти по принципам первобытнообщинного строя, обнимались и плакали на улице. И действительно, дома стали опустевать один за другим, Марина Петровна с Машей уже рисовали вечерами под абажуром план-схему будущих своих двухкомнатных хором, как вдруг пришло новое решение: расселение отремонтированного дома, как признанного абсолютно пригодным для проживания, отменить на неопределенный срок.

Чуть ли не наутро после этого удара в поселке появилась грозная ревущая техника, в пару дней превратила соседние осиротевшие дома в печальные руины и уехала, оставив единственный жилой дом с краю, пока не утративший невинно-розовую штукатурку снаружи, но потихоньку крошащийся и истлевающий изнутри...

Жуткими стали зимние ночи, когда жильцы, чьи окна выходили в сторону развалин, так никем никогда и не разобранных, не видели в ночи ни одного огонька человеческого жилья, зато слышали, случалось, протяжный вой каких-то животных, и тогда утром все утешали друг друга, убеждая, что это, наверное, все-таки еще не волки...

Через пару лет в жизни Марины Петровны, ставшей к тому времени ревностной верующей и успевшей приучить к тому же и семнадцатилетнюю Машу, влюбленную в мать и оттого некритичную, появилось некоторое утешение. Недалекая церковь, до того уродовавшая горизонт скорбным остовом купола и переставшая быть годной даже под овощное хранилище, была в таком виде милостиво возвращена владельцу – Санкт-Петербургской епархии. Прознав об этом, Марина Петровна с Машей немедленно предложили свою помощь опустившему было руки отцу настоятелю и почти с первого дня трудились на реставрации бок о бок с другими бескорыстными верующими, составившими со временем крепкий костяк церковной общины...

А спустя совсем мало лет старосту Марину Петровну отпели всей рыдающей общиной и похоронили здесь же, в церковной ограде, на маленьком старом погосте, где читались еще надписи на могильных плитах, ясно говорившие о том, что новопреставленная раба Божия упокоилась в приятной сердцу компании: были здесь и певчие, и псаломщики, и дьяконы, и даже какая-то «матушка Евлампия» без дат и других регалий.

Машина мама угасла за полгода от неизвестной науке болезни: однажды без всякого предварительного повода, она начала, как говорят в народе, «чахнуть». Поскольку никаких более серьезных заболеваний, чем родная петербуржцу анемия, у нее так и не обнаружили, – хотя искали врачи на совесть, о чем лично позаботился искренне горевавший батюшка – то тот же народ вынес свой строгий вердикт «сделали» – и это было очень похоже на правду, потому что болезнь, день ото дня прогрессируя, не давала никаких других симптомов, кроме всевозрастающей слабости, апатии и утраты воли к жизни.

Одна только Маша знала, скрывая ото всех, если не название болезни, коего, верно, и не существовало, то причину ее – точно.

До рождения Маши ее мать успела закончить два курса Консерватории по классу вокала. Ее редкое меццо-сопрано отпугивало даже частных педагогов еще и раньше. «Девочка моя! – чуть ли не расплакалась на плече юной феи, прослушав ее, одна старая оперная дива. – Да это не вы должны платить мне за уроки, а я – вам, за удовольствие слушать вас!». Но, оказавшись предательски покинутой с новорожденным ребенком на руках, в вечной осаде в виде трех неугомонно бушующих мегер в родительском доме, она вынужденно Консерваторию оставила – всего лишь на время – а оно оказалось таким удобно гутаперчивым, что возвращение каждый раз откладывалось – до осени, пока не выяснилось вдруг, что последняя возможная осень уже прошла.

С тех пор у Марины Петровны раз и навсегда развился один-единственный, но угрожающий невроз: она не только никогда и ни при каких обстоятельствах не пела сама, но и не выносила в своем присутствии ничего, отдаленно напоминающего пение – даже чье-либо бездумное мурлыканье немедленно повергало ее в серую пропасть депрессии, из которой она выходила долго, тяжело и мучительно для окружающих. Исключение делалось лишь для церковного пения – и то, вероятно, лишь потому, что уж слишком конкретный стоял в этом случае выбор.

Накануне того утра, с которого и началось быстрое и непонятное мамино угасание, они с Машей в будний день зачем-то оказались в самом центре города и около полудня как раз миновали огромный, подавляющий великолепием и суетным земным величием собор.

– Давай зайдем, – быстро решила Марина Петровна. – Посмотрим, нет ли у них той иконочки, о которой я тебе тогда... – и они свернули.

Как раз отошла ектения об оглашенных¹, с клироса² донеслось первое «иже...» – и вдруг Маша всем телом почувствовала, как крупно вздрогнула мать, точно в нее ударила пуля. Пока длилось нескончаемое «херувимы», Марина Петровна дико озиралась вокруг, и рот ее был широко открыт. Когда же хор приступил к многоступенчатому «тайнообразующе»³, она, лишь на секунду прислушавшись, охнула на всю церковь и опрометью рванулась вон, держась за грудь. Поскольку зрелище бегства человека с перекошенным лицом из церкви прямо с Херувимской может означать только одну конкретную и жуткую напасть, приключившуюся с ним⁴, то верующие буквально попрыгали в стороны, и Машина мама теперь неслась прямо к дверям по широкому проходу. Отставшая от неожиданности Маша нагнала ее на паперти, где мать стояла, закрыв лицо руками и безмолвно сотрясаясь.

– Что?! Что?! Что?! – мечась вокруг, повторяла Маша до тех пор, когда, еле переведя дыхание и справившись с собой, Марина Петровна ответила срывающимся шепотом:

– Я не могла... Не узнать... Это она... Ленка Мишанина... С курса... Контральто... Регентует⁵! Господи, а я-то, я, я, я... – и она безумно, некрасиво, по-звериному зарыдала.

Потому Маша и знала, что ее мама умерла оттого, что вскрылась страшная душевная немощь, которую она всю жизнь пыталась лечить забвением, но забвение – это не тот пластырь, что исцеляет сквозные раны души, – а тело просто отказало, не смогло больше трудиться, имея внутри смертельно уязвленную душу...

Два года прожила Маша Туманова в совершенном одиночестве, стараясь найти успокоение в любимой, сознательно выбранной работе в школе и, хотя работа не очень задавалась у Маши, особенно в старших классах (с младшими было спокойнее: у них страх учительский еще не уступил место подростковому безобразному самоутверждению), у нее была теперь трепетная тайна ожидания, и эту тайну Маша холила и кормила мечтами о том светлом дне, которого ждала. А год назад она открыла в себе еще и неожиданный счастливый талант: однажды ночью вдруг написалась, как выплеснулась, замечательная сказка для детей, и с тех пор сказки такие одна за другой заполняли толстую тетрадку, имевшую свое почетное место в верхнем ящике стола и свою личную ручку – особую, старую, питаемую чернилами и с золотым пером, умыкнутую мамой у сестры при торжественном бегстве из отчего дома. Сказки Маша долго никому не показывала – до нынешней весны, и теперь, радуясь мимоходом, что хоть рисунок на обойчиках не приходится подгонять, она клеила и клеила красивую бледно-зеленую с золотом бумагу на свои неровные, кое-как заляпаные шпатлевкой стены и пыталась сложить в уме новую сказку, какую-нибудь совершенно особую, подходящую к сегодняшнему долгожданному дню. Но сказка не складывалась: вместо обычных в таких случаях прозрачных, но наполненных цветным движением видений, перед ней все вставало лицо того мальчика из 11 «б», Жени Афанасьева, которому поставила она, учительница литературы, вполне заслуженную тройку за выпускное сочинение, испортив ему тем самым в мечтах им уже полученный бестроечный аттестат. Незаметно мысли Маши сбились с так и не сложенной сказки на этого проблемного Женю: она все пыталась сладить со своей совестью, решив, наконец, определенно, что поступила единственно правильным образом. Маша твердо знала: нельзя допускать себе ни единого послабления, делать первый шаг в сторону с торной тропинки, проложенной совестью, пусть даже прельстившись мнимым доброделаньем. «Давайте допустим как исключение!» – хором убеждали ее директриса с завучем, и так легко было сказать: «Ну что ж, допустим.

¹Ектения об оглашенных – особые молитвы за некрещеных людей, готовящихся принять таинство Крещения (оглашенных), читаются на Божественной Литургии

²Клирос – место, где находится хор во время церковных служб

³«Иже херувимы тайнообразующе...» – начальные слова Херувимской песни, исполняемой на Божественной Литургии

⁴Такое чаще всего означает, что человек одержим бесом

⁵Регентовать – дирижировать церковным хором и одновременно петь

Мальчик способный, с будущим. Ну, не дается ему литература, не любит читать. Но не портить же ему жизнь из-за этого!». И не отворачивалась бы теперь от нее в коридоре надутая директриса, не цедила бы презрительное «Подумаешь, какая цаца!» оскорбленная завуч... А вот не смогла Маша. И мальчика ей было жалко, и в положение коллег она вполне входила – в мыслях – а не пошла против собственной скрупулезной и мнительной совести. Но, поставив все-таки законную тройку, совесть свою, оказывается, нимало не успокоила: она, как медведица, разбуженная зимой в берлоге, все копошилась, тяжело ухала, отравляя Маше день ее великой радости.

«Вот что, – решила Маша, слезая с табуретки и плюхая кисть в обляпанный таз с клеем. – Пора делать перерыв. Сейчас надо себя как-то приводить в порядок для выпускного, а закончу после, когда жара спадет. Потом мебель расставлять, тюль стирать... Ничего, и вечер, и ночь впереди, спать-то мне сегодня все равно не придется... А что касается Афанасьева... Что же. Тут куда ни кинь – все клин. Расскажу на исповеди – и баста».

Но какая-то настырная заноза относительно Афанасьева в голове все равно оставалась. Немножко поднапрягшись, Маша сумела все-таки докопаться, что это – воспоминание о его последней возмутительной выходке, когда разъяренный юнец подкараулил ее одну в учительской и учинил то, что, вероятно, называл «выяснением отношений». Афанасьев неправдоподобно нагрубил ей и даже пожелал насильственной смерти, но до того бросил учительнице странную, исполненную тумана фразу. Маша прекрасно помнила ее и инстинктивно знала, что его слова должны были содержать в себе какое-то особо болезненное оскорбление, но смысла его она, увы, не поняла. Пересказать ругательство кому-нибудь из коллег и попросить разъяснить Маша сочла неудобным, побоявшись, проявив дремучее невежество, в очередной раз стать притчей во языцех. Всю последнюю неделю она мысленно перебирала в уме кандидатов, способных и растолковать ей таинственный шифр, и одновременно умеющих держать язык за зубами. И только сейчас на нее нашло изумительное озарение: «Да Эмилию я спрошу! Как раньше-то не догадалась!».

Эмилия Цезаревна и была тем человеком, которому этой весной Маша решила показать свою любимую сказку. После зимних каникул Маша как-то прослышала краем уха, что при их школе начала действовать некая "Студия молодого русского слова" для старшеклассников, а ведет ее самая что ни на есть настоящая профессиональная поэтесса. Маша обрадовалась было, но та же молва очень быстро донесла до нее фамилию поэтессы – Бригман, и столь же басурманское имя-отчество – Эмилия Цезаревна. Идти знакомиться сразу же расхотелось, и очень легко оказалось этого избежать: студия собиралась как раз в четверг – законный Машин выходной, закамуфлированный под «методический день». Не раз потом пришлось Маше с горечью вспомнить, как она даже успела поплакаться батюшке, убежденному русофилу и юдофобу:

– До чего дошли уже – совсем не стесняются! «Молодое русское слово» – и Бригман! Хоть бы псевдоним взяла, чтоб так в глаза не бросалось!

И скорбно качал белой мудрой головой духовник:

– А им и надо, чтоб бросалось, именно чтоб бросалось, Машенька! Мол, вот мы вас как, а вы все равно утретесь. Ну, ничего, подожди, подожди: молодая еще. Даст Бог, и успеешь увидеть, как все эти Бригманы языки-то поприкусят... А сейчас нам молитву усилить надо.

Тому же батюшке нынешней весной Маше пришлось покаяться в своем поспешалом злоязычии: ей все-таки выпал неожиданный случай познакомиться с заочно очерненной Бригманшей.

В тот четверг давали зарплату; Маша могла бы получить ее и в пятницу, но премудрые обстоятельства сложились так, что в четверг ей уже не на что было позавтракать. Пришлось, истратив последние монетки на метро, ехать в неурочный день на работу, причем, еще и прогуляться пешком два изрядных расстояния: от дома до метро

по узкой дорожке меж окраинных домишек и от метро до школы – вдоль нескончаемой улицы, по которой обычно она незаметно пролетала в маршрутке. Канцелярия оказалась запертой на ключ, где искать секретаря, по совместительству кассира, она догадывалась и брезгливо предпочитала не соваться в этот сочившийся ядом гадюшник. Поэтому ей оставалось только торчать, оправдывая свое школьное прозвище, непосредственно под дверью, чтоб запорхнувшую на минутку и выпорхнувшую обратно секретаршу еще и не проворонить. Точно в таком же положении рядом томилась молодая, ненавязчиво элегантная женщина в бархатном болотного цвета плаще, уже определенная Машей как родительница. В бесцельной тоске озиравшейся Маше женщина показалась очень милой: добродушное славянское лицо с чуть раскосыми, но огромными и яркими глазами, высокими точеными скулами и изящным носиком; несколько властная, но уж очень породистая посадка головы, даже на вид казавшиеся мягкими белые руки, явно не знакомые с унижительным физическим трудом, – все это производило настолько благоприятное впечатление, что Маша не приняла близко к сердцу то, что длинные волосы у женщины аккуратно завиты, что требует ежедневного кропотливого труда, что лицо и руки явно пользуются многочасовым вниманием хозяйки, а в ушах и на пальцах камушки сверкают так, что даже в темном коридоре с коричневыми стенами, даже такому неискушенному человеку как Маша, становилось пронзительно ясно, что это именно бриллианты.

Как и подавляющее большинство людей, с утра до ночи снашивающих свое тело и отупляющих душу на тяжелой работе, продолжая оставаться при этом бедняками, Маша инстинктивно недолюбливала не просто богатых – пусть и редко, но достаток все же можно добыть упорным трудом! – а богатых и праздных. Более негативных чувств к ним Маша по-христиански не испытывала, однако заповеданную любовь тоже взрастить не могла. Но странное дело! Хотя эта незнакомая женщина явно принадлежала как раз к ним, трутням, и при этом весь ее вид и повадка громко заявляли о благополучии и массе свободного времени, она вызвала искреннюю симпатию у Маши. Тем, как дружески вскидывала иногда глаза, чуть дрогнув при этом краешком безупречных губ; особенной статью независимого человека – но не купленной независимостью, а внутренней, врожденной и оттого неотчуждаемой. Женщине казалось лет тридцать на вид, ее красота как раз стояла в последнем расцвете настоящей молодости – и умела не быть при этом вызывающей, не задевая и не вызывая зависть. Рядом с ней Маша вдруг забыла про свой, вернее мамин, серый плащ пятнадцатилетней давности, донашиваемый даже не из-за нищеты, а потому что Маша стеснялась покупать что-то необязательное для себя лично, когда видела вокруг столько примеров невозможности приобрести и насущное...

Пришли директриса с секретаршей, и Маша, занятая всегда и всем приятным процессом получения денег, про интересную женщину мгновенно позабыла и рефлекторно обернулась лишь тогда, когда услышала позади голос директора:

– Так я на вас рассчитываю, Эмилия Цезаревна? – и убедилась, что вопрос был адресован именно ее товарке по недавнему ожиданию, как раз мило кивнувшей:

– Конечно, как договорились.

Не дав Маше времени для обдумывания, директриса подозвала ее мановением руки и вновь обратилась к женщине:

– А вот, кстати, и учитель литературы. Можете и с ней переговорить... Мариванна, это Эмилия Цезаревна, которая ведет наш литкружок.

– Студию, – кротко поправила та и, вежливо-бесцеремонно отсекая директрису от дальнейшей беседы, заулыбалась Маше: – Ага, вот и вы, неуловимый учитель литературы, с которым мне надлежит работать в тесном контакте. И который, как мне уже, конечно, доложили, от меня откровенно бегаёт.

– Бегаю?! Д-доложили?!.. – запунцовела застигнутая Маша. – У меня просто – выходной... А так я – здесь... Всегда... Просто сегодня я здесь... по делу.

Женщина перевела взгляд с Маши на стол секретарши, где та отсчитывала купюры. – Дело-конечно-важное-дело-конечно-нужное... – скороговоркой пропела она. – Но, если вы его закончили, то давайте все обсудим снаружи.

Маша кивнула, последовала за Эмилией, и они направились рядышком по коридору к выходу.

– Если я могу вам чем-то помочь... – вежливо предложила Маша, с тоской думая о том, что если помощи у нее действительно потребуют, то может стать, после проверки всех тетрадей ей придется еще что-то делать для другого – ночью.

– Ой, да не надо, что я – зверь, что ли? – доверительно глянула Эмилия. – Я еще – при вашей-то нагрузке! – на вас что-то вешать стану! Речь шла о выступлении студии со стихами на выпускном вечере. Сама справлюсь, делов-то...

– Спасибо! – искренне ответила Маша. – У меня действительно свободного времени не так много... А что... – решила она, боясь, однако, уронить свое учительское достоинство, проявив восторженный интерес к жителям Парнаса. – Вы, говорят, известная поэтесса? Извините, но я как-то никогда...

Эмилия чуть заметно фыркнула:

– Естественно, никогда. Вы бы в жизни не стали читать стихов поэта с таким именем. По вам, извините, видно.

Маша не знала, куда глаза девать, и зачем-то промямлила, понимая, что ей ни за что не выдержать такого эффектно безразличного тона в щекотливых вопросах:

– А вы, простите, из обрусевших немцев, наверное?

– Да какие там немцы! – махнула рукой Эмилия. – И вовсе не про немцев вы думаете, а про евреев... все так, – (Маше захотелось провалиться сквозь землю, потому что думала, она, конечно, именно про них). – Но я русская! Русская, понимаете! Русская, в России родилась, по-русски воспитана и люблю Родину. Ну не виновата я, что имечко мне досталось от папочки-англичанина, который потом ноги сделал. А от меня народ православный как от чумы шарахается. Даже иным священникам в церкви объяснять приходится... – на одном дыхании выпалила поэтесса.

«Неужели – в церковь ходит? Такая... красивая – и в церковь?» – пришла вдруг Маше странная и прямо-таки неприличная мысль. Но она кое-что вспомнила:

– Ну что вы! Эмилия – вполне христианское имя. Так звали мать Иоанна Златоуста.

– Василия Великого. Но спасибо, хоть не стали задавать дурацкого вопроса: а в крещении? Я от него во всех церквях устала, – спокойным голосом отозвалась Эмилия.

Женщины вышли на школьное крыльцо, и Маше стало ясно, что здесь их дороги могут навсегда разойтись, а ей не хотелось. Она не отдавала себе отчета – почему, но чувствовала, что за несколько минут, которые они прошагали с Эмилией бок о бок по школьному коридору, в ее жизнь успело войти нечто нестерпимо яркое, насыщенное и вполне осязаемое, настолько ценное, что это ни в коем случае нельзя упускать просто так. Эмилия уже по-деловому нацелилась на остановку маршрутки, и тогда Маша, преданно трусившая сбоку, отважилась:

– Вы – к метро? Может быть, мы с вами туда – прогуляемся? Если, конечно, вы не очень спешите... Потому что я хотела с вами кое о чем посоветоваться.

– Давайте, – без ломаний согласилась Эмилия. – Погода хорошая.

Маше понравилось, что новая знакомая не стала набивать себе цену, как делают после таких предложений иные люди, быстро взглянув сначала на часы, а потом поверх плеча собеседника вдаль, словно решая, стоит ли он того, чтобы потратить на него лишние четверть часа... Пожала плечами и просто пошла дальше рядом с Машей, но в этой ее доступности чувствовалось что-то очень беззащитное... Вся беззащитность улетучилась, когда, пройдя метров десять, Эмилия бросила на Машу быстрый испытующий взгляд:

– Вы тоже пишете?

Такой вопрос был сам по себе подарком не знавшей как начать Маше, но прозвучала в нем такая нота, что она смутилась до глубины души, но собралась с духом:

– Сказки для детей.

– И это как раз то, о чем вы хотели посоветоваться?

– Угу, – сдалась Маша. – И я понимаю, что к вам, наверное, часто с этим пристают, прочитать просят. Но мне кажется, что к вам больше должны приставать со стихами.

– Да, – едва заметно улыбнулась Эмилия и снова глянула исподлобья на Машу. – Вы внесли некоторое разнообразие. Я, конечно, ваши сказки почитаю. Приносите, пожалуйста.

– Спасибо! – обрадовалась Маша. – Я ведь вам – первой. Еще никому, никогда...

– Да? – собеседница вдруг повернулась к ней лицом и остановилась; Маша заметила, что при серьезном взгляде у нее, в общем-то, задорная мордаха. – А почему именно мне? – она легко вскочила на низкий поребрик газона, сразу легко, подевчоночь, спрыгнув обратно. – Вы ведь обо мне ничего не знаете? Почему вы мне так доверяете?

– Я сразу поняла, что вы – необыкновенный человек, – честно ответила Маша, удивляясь, откуда набралась такой храбрости: очевидно, заразилась от Эмилии. – Еще до того, как нас познакомили.

– Ах, вот как... Вот-как-вот-как... – задумчиво протянула та. – Тем лучше. И, кстати, все складывается удобно для вас. Я опять буду завтра после уроков в вашей школе. Решила, видите ли, издать сборник стихов молодых дарований. Между прочим, все – девочки, восемь человек. Вот и назначила на завтра встречу с их родителями, потому как авторы, сами понимаете, несовершеннолетние. Вы и приносите завтра что хотите, ладно? – и Эмилия интимно тронула Машин локоть.

Но Маша уже была всецело поглощена другим: ошеломительным известием о том, что в их старших классах нашлось восемь девочек, способных, по мнению Эмилии Цезаревны, писать стихи, которые даже можно публиковать. Это оказалось полнейшей неожиданностью: среди старшекласниц Маша не видела ни одного приличного лица. Пятнадцати-семнадцатилетние, по возрасту – девчушки, они выглядели в массе своей перевалившими далеко за двадцать пожившими блудницами. Более точными словами она не оперировала, но зато постоянно слышала их от коллег.

– А кто это?! Фамилии вы помните? – потрясенно спросила Маша.

– Секрет! – весело ответила Эмилия. – Я дала слово не выдавать тайну. Сами знаете, вас, учителей, детки не часто жалуют. Ну, а я обещала. Так что не скажу, извините... Кстати, почему мы все идем, идем, а метро все нет?

– Так вообще-то здесь еще порядочно, – растерялась Маша.

– Не-ет, на такой подвиг я пойти не могу, ходок плохой, – подумав секунду, сообщила Эмилия. – Я уж лучше... Ведь мы с вами договорились? Вон, едет... А вы – прогуляетесь? До завтра тогда, – и резким взмахом руки остановив пролетающую маршрутку, она уверенно распахнула дверцу рядом с водителем, чего Маша никогда не делала из великого стеснения, но сделать несколько лет мечтала.

Вот бы так же изящно взлететь в кабину, привычным движением подобрав полу длинного плаща – как амазонку! Дверь легонько хлопнула, Эмилия широко улыбнулась и кивнула Маше. Только тут Маша оценила ее деликатность: несколькими естественными словами Эмилия, во-первых, ненасильственно прекратила разговор, исчерпавший себя и оттого угрожавший породить тягостное и никому не нужное молчание, и, во-вторых, не втащив Машу за собой в машину, избавила ее от необходимости платить деньги после того, как она уже полдороги отмахала пешком... Таким образом, Эмилия сумела оставить о себе ничем не разбавленное благоприятное впечатление...

До трех часов утра отбирала Маша сказку. Она сразу решила дать сначала из вежливости только одну, и уж если та понравится, то постепенно скормить и другие, а если не понравится, то, хотя бы, выставить на позор немного. Еще час она каллиграфическим почерком и без помарок (компьютера у нее не было) переписывала

сказку на листы мелованной бумаги, специально хранимой для особых случаев, а потом, перетрудившись и перенабравшись впечатлений, так и не заснула.

После уроков Маша подстерегла Эмилию Цезаревну в раздевалке и вручила свою безупречную рукопись.

– Телефон, телефон сверху надпишите, – небрежно сунув плащ гардеробщице, говорила обаятельная поэтесса... Ах, нету – и как же вы обходитесь? Тогда вот мой, на карточке там, найдете... Ну... дней через пять.

Маша выждала пять дней, для приличия приплюсовала к ним еще один сверх уговора и позвонила Эмили Цезаревне из учительской. Пока из трубки доносились неторопливые гудки, Маша спохватилась и пробормотала про себя краткую успокоительную молитву и даже, как институтка перед экзаменом, успела помянуть «Давида и всю кротость его¹». Гудок прервался на середине, и она услышала музыкальное «Алло!», произнесенное нарочито-равнодушным тоном. Маша сразу узнала голос Эмили, но зато не узнала свой собственный: он почему-то сел и задрожал:

– Здравствуйте, Эмилия Цезаревна! С вами говорит Мария Ивановна Туманова, учитель литературы. Я вас беспокою по поводу той моей сказки, которую вы так любезно согласились прочитать... – произнесла Маша свою предварительно заученную фразу, тотчас поняв, что такая изысканная вежливость обязательно должна прозвучать несколько оскорбительно.

– Извините, – ответила трубка голосом Эмили. – Я не Эмилия Цезаревна. Сейчас я ее позову.

Растерянно прижав трубку к уху до боли, Маша ясно услышала в ней звонкое, словно птичье многоголосье, приглушенную музыку и даже бряканье посуды. «Гости! – ужаснулась Маша. – Надо ж так не вовремя попасть! Ей уж точно не до меня!» – но сразу в ее ухе возник теперь уже доподлинно Эмилиин голос:

– Мариванна, Маша, вы, да? Ой, они тут орут так, что не слышно... Вы-то слышите, Мариванна? Я прочла вашу сказку... Ой, потише нельзя? Дайте с человеком поговорить... Прочла, говорю, но в двух словах всего не объяснить, тем более по телефону... Нам бы надо пересечься и обо всем толком... Что ты мне ее под нос суешь?! На стол селедку поставь... Нам нужно встретиться, Мариванна, в любом случае... Вы завтра... Нет, лучше в субботу... Часика в четыре, скажем, или...

– Эмилия Цезаревна! – осмелела Маша, купившись на такую интимную простоту абонента. – А что, если мне... пригласить вас к себе в гости? В субботу, в четыре, допустим... Мы бы чайку попили, вы бы мне все...

– Хорошо-хорошо! – закричала Эмилия, как по междугородней. – В субботу, в четыре... Адрес давайте. Так, пишу! Ой, чч... Ручка упала! Ага, диктуйте...

Пока Маша диктовала и, взяв себя в руки, пыталась доходчиво объяснить еще и путь-дорогу, она все время слышала мирные и приятные, совсем житейские звуки Парнаса... У Маши потеплело на сердце, как будто она впервые прояснила для себя, что поэты – тоже существа из плоти и крови, приглашают гостей, едят вульгарную селедку и роняют на пол обычные шариковые ручки...

В субботу на Фоминой Эмилия Цезаревна стояла на пороге Машиной квартиры с маленьким тортиком в руках.

– Христос воскрес! – произнесла она, как и положено. – Мир дому сему! – в ее голосе проскользнула добродушная ирония.

– Воистину... воскрес... С миром принимаем... – Опять разволновавшись, заторопилась Маша, ругая себя за глупую привычку вечно смущаться – в таком-то возрасте! – и удивляться, слыша христианское приветствие от малознакомых людей.

Она прикинула, прилично ли будет завершить обряд по-уставному, троекратно облобызавшись с гостьей, и заколебалась, уловив нерезкий, но дивный запах иноземных

¹ Псалом 131, ст. 1, читается перед началом трудного испытания или экзамена

духов. Но Эмилия сама прервала ее мучительные размышления, шагнув навстречу и потянувшись к Машиной щеке, казалось, привычным движением. Женщины расцеловались. «А, – подумала Маша. – Для нее все просто: богема ведь и без Пасхи все время целуется, обычай такой». Она распахнула перед Эмилией дверь в тщательно прибранную комнату, отчаянно уговаривая себя при этом так не волноваться, потому что в любом случае ничего страшного не произойдет: ну, разругает Эмилия ее сказку, так ведь все равно не обидит, по ней видно.

– И вы – одна здесь живете? – спросила гостья.

Далее все обычно прибавляли: «И не скучно?».

– Завидую, – бросила Эмилия.

– Мама умерла, – пояснила Маша, сразу прокляв себя за то, что этим поставила Эмилию в неловкое положение.

– Простите. Вечно я брякну глупость, – серьезно проговорила та. – Давно?

– Два года.

Женщина смотрела все также грустно и задумчиво:

– А муж, дети?

– Нет, – опустила глаза Маша.

– Что ж так – не сложилось? Разошлись? – продолжала Эмилия задавать вопросы, которые в устах другого человека показались бы грубым вмешательством в сокровенное, но, заданные ею, теряли всю изначальную бестактность.

– Я не была замужем, – призналась Маша.

– А-а, ну, ладно... – легко тряхнула завитой гривой Эмилия. – Как говорится, нет мужа – нет проблемы.

– У меня есть... проблема! – неожиданно выпалила Маша. – Я люблю одного человека.

После этого своего внезапного откровения она почти испугалась. Что за женщина перед ней? Она же ее совсем не знает! Почему она так разоткровенничалась?! Не гипнотизерша ли Эмилия? А может – экстрасенс?! Чем она так сумела ее – приворожить! – другого слова нет?!

А между тем Эмилия, по-хозяйски отодвинув стул, спокойно уселась на него и, водрузив свой торт на стол меж выставленных Машей чашечек и вазочек, рядом с полным блюдом фирменных ее, с пылу с жару, пирожков с мясом и с рыбой, принялась невозмутимо развязывать веревочку. Маша захлопотала и залопотала вокруг гостьи, стремясь сбить волну своей острой тревоги и неловкости. Эмилиин торт оказался весьма симпатичным – с толстым слоем взбитых сливок, сверху сплошь облепленный нарядными пуговичками засахаренных ягод и фруктов.

– Ого! – обрадовалась Эмилия. – Надо же, донесла в целости! Это у меня, знаете ли, редкость: как иду куда с тортом, так обязательно где-то зазеваюсь, плюх – и привет.

Маша нерешительно улыбнулась и, перехватив эту улыбку, Эмилия вдруг резко отодвинула торт и уронила руки на стол, устремив длинный теплый взгляд на хозяйку.

– Мариванна! – громко и решительно произнесла она. – Сядьте вы, не суетитесь... Мариванна, я очень не люблю вводить людей в такую... тихую панику своей скромной персоной. Слушайте, я сама удивляюсь – что люди во мне находят такого, чтобы сразу выкладывать мне свои страшные тайны, а потом меня же и обвинять в том, что я эти тайны вытянула. Ну, сказали, Мариванна, ну, любите кого-то – так это же проще некуда! Я тоже женщина, я и сама любила, что я – не пойму, что ли? Ну, тянутся ко мне люди, и вы потянулись – что с того? Может, я флюиды какието распускаю... Так что, хотите – дальше рассказывайте, хотите – молчите. – Эмилия улыбнулась почти детской обезоруживающей улыбкой. – Я, в конце концов, к вам по делу пришла, вот...

Пока она говорила все это – сердечным глубоким голосом, не пряча прямого взгляда умных темно-серых глаз, в Маше родилось, выросло и распустилось ответное доверчивое

чувство – глубокой приязни, приятельского расположения, требовавшее таких же искренних дружеских слов.

«Осторожно! – вдруг буквально крикнул ей внутренний голос, которому она иногда, под настроение, доверяла, иногда игнорировала, а иногда просто принимала к сведению, не зная, с кем по-настоящему имеет дело. – Так говорят и ведут себя люди – либо очень хорошие, либо исключительно, невозвратно дурные! Ты не сможешь определить так сразу, а дурных – больше, чем хороших!». К сегодняшнему голосу точно следовало прислушаться, но в тот момент Маша не пожелала: она уже как с горки соскользнула, что было с ней раньше только однажды, в ту достапамятную навеки единственную ночь...

– Да! – так же смело отозвалась она. – Все действительно так, как вы говорите. А может быть, мне просто показалось, потому что мой круг общения... ограничен. Я видите ли, очень замкнуто живу, особенно после смерти мамы. Подруг у меня, можно сказать, совсем нет. В школе коллеги – так мне с ними не очень... интересно: у них, знаете, что ни разговор – так либо о том, чей муж хуже, либо одно сплошное осуждение отсутствующих: как кто за дверь – так они сейчас ему кости перемывать...

– Тоскливо, – согласилась Эмилия Цезаревна.

– Ну а еще с кем я общаюсь, – так это наши, церковные люди. Но те все больше мамини бывшие подруги и... соратницы. Она ведь в нашей церкви старостой была, вместе с батюшкой из руин ее поднимала. Вон, смотрите, купол в окне – видите? Так это и есть наша церковь... Они все хорошие женщины, только вот возраст... Впрочем, у них, кажется, его и нет. А темы разговоров, знаете...

– Уй! – передернулась Эмилия. – Мне ли не знать, на себе испытала: близкий – на той неделе – конец света со всеми ужасами антихриста, а главное – батюшки: один сказал, другой предсказал, там – святой, тут – вероотступник. Завыть хочется. А какими голосами говорят! Точно у них поголовно – легкий насморк...

Маша не удержалась и громко фыркнула: Эмилия ухитрилась дать точный портрет машиной доброй знакомой, матушки-казначей – никогда ее ранее не видев, но угадав даже наличие полипов носа. Она спохватилась:

– Наш разговор, все-таки... Какой-то опасный оборот принимает. Вам не кажется? Эмилия усмехнулась и покачала головой:

– Эх они вас! До чего довели, однако! Вам что, теперь в любой фразе человека... без насморка... дьявольский соблазн мерещится?

Она именно так и произнесла – «дьявольский», выдав тем самым свою несомненную принадлежность к православному меньшинству.

– Не мерещится, а беседа наша действительно соблазнительная, – важно ответила Маша.

Эмилия махнула рукой:

– Да вы не думайте, я – не из скептиков. Я человек воцерковленный, посты соблюдаю, к таинствам приступаю регулярно, с мужем обвенчана. Так что за одним столом со мной можете сидеть без боязни... Кстати! – вдруг вскрикнула она и, быстро нагнувшись к своей висевшей на спинке стула сумке, извлекла оттуда длинную бутылку марочного кагора. – Уважаете?

Вот тут Маша оробела по-настоящему. Она и раньше не сомневалась, что люди искусства очень охочи до спиртного, пьют его много, как мужчины, так и женщины; знала, что не только поэты, но и все русские люди этим балуются; даже в школе учительские междусобойчики в памятные даты чаще всего превращались в обыкновенную бабскую попойку – но списывала все эти безобразия на невоцерковленность людей, считая уж православных-то женщин гарантированными от падения в эту вселенскую грязь. Но, с другой стороны, Эмилия Цезаревна до того не походила на обыкновенную женщину, весь ее вид до того говорил о причастности к чему-то высокому, что Маша не решилась и усомниться в том, что она может подбить ее на что-то незаконное.

– Если только по чуть-чуть... – пробормотала она.

– Вот это дело! – одобрила Эмилия. – Здесь и есть чуть-чуть. Егоже и монаси приемлют (несите фужеры), и вообще, веселие на Руси¹...

«И действительно! – внутренне встряхнувшись, подумала Маша. – Я и впрямь, наверное, уже пугаю людей своей положительностью!».

– На брудершафт? – предложила Эмилия, когда вино было разлито.

Кивнув, Маша опасливо пригубила свой бокал – и с великим удовольствием выпила до дна густую, душистую, прянную жидкость.

– Ну вот, теперь ты – Маша, а я – Эмма, – улыбнулась гостя. – Целоваться не будем, это по-язычески.

Довольные собой и друг другом, женщины рассмеялись.

– А я ведь и водку пила однажды, – поделилась Маша все в том же припадке откровения.

– Это как раз и было тогда, когда я познакомилась с ним... С Игорем...

– Которого ты любишь? – просто спросила Эмилия.

– Да... – и сразу, словно долго простоявший лед, вмиг треснула и неудержимо тронулась с места застывшая лавина Машиных потаенных чувств. Остановить ее Маша не смогла бы, даже если б захотела – с такой силой рванулись и хлынули из ее души слова. Она рассказывала, как умела – а была она все-таки учителем литературы – в мельчайших подробностях поведала новой подруге обо всем, чем жила последние два с половиной года, что одно только и удержало ее над бездной непроглядного горя после смерти мамы, ради чего вообще стоило ей жить на земле... Она говорила Эмме, но ей уж было все равно, слушает ли та, и остановилась, как на скалу налетев, лишь заметив вдруг, что Эмма в упор смотрит на нее широко открытыми глазами, обеими руками держится за голову и, вероятно, сидит так уже давно.

– Что вы... ты так смотришь? – прошептала хрипло Маша. – Ты думаешь, я не от мира сего? Ты думаешь, что я живу... в мире иллюзий? Что я сама себе придумала... сказку? Что он давно забыл и меня, и вообще все? Так думаешь, да? А вот я – верю. Несмотря ни на что – слышишь? Ты считаешь, я – дура?

Впервые Эмма, казалось, не могла подобрать слов. Она только поводила головой из стороны в сторону, набирала было воздух, но все не заговаривала. Наконец, тихо и внятно сказала:

– Нет, ты не дура. Я вообще не знала, что в наше... проклятое время еще можно жить – так. Любить и верить – вот так. Это что-то настолько редкое, единичное, что столкнуться с этим... Я оказалась не готова. Но ты – не дура. Даже если твой любимый к тебе и не придет, то ты все равно умней всех нас. Ты даже не знаешь, что твои чувства значат. Да может, Господь только за одно за это тебе венец даст, какой мне, убогой, и во сне не приснится.

– Уж ты-то убогая! – удивилась Маша. – Бога побойся.

– Вот Он-то как раз и знает, что я убогая, – медленно произнесла Эмма. – Не нищая духом, а именно – убогая.

– Убогая – значит у Бога, – утешила Маша, вспомнив, что она филолог. – Так что это тоже неплохо.

– Да ладно, что уж, – возвращая прежний спокойный тон, вздохнула Эмма и вдруг насторожившись, пристально глянула на Машу: – Ээ... Послушай... Да ты – это... Выходит, девица, что ли?!

– Ну да, так вышло, – словно оправдываясь, призналась Маша.

– Ну дела-а... – протянула Эмма. – Ну-ка, встань к свету. У тебя крылышки там не отросли еще? И нимба нет? Странно.

¹ По преданию, выбирая религию для своей страны, будущий св. равноапостольный князь Владимир, отвергая мусульманство, запрещающее употреблять алкоголь, сказал: «Веселие на Руси есть *питу*».

Маша испытала прилив жгучей благодарности за то, что Эмма свела столь щекотливый разговор к безобидной шутке. А та снова наполнила бокалы и подала один Маше с немудрящим:

– За это надо выпить, – и Маша чокнулась уже с большой охотой, чувствуя облегчение и оттого, что высказалась, и оттого, что рядом неожиданно-негаданно оказался столь симпатичный человек.

Со вкусом ополовинив свой бокал, Эмма опустила его, призадумавшись. Провела языком по губам, покосилась на Машу:

– Вот какой странный разговор у нас с тобой вышел. И – поучительный. Для меня. Впрочем, дураку что в лоб, что по лбу. Я ведь не умела так никогда и не сумею. А знаешь... – она встрепенулась. – Я завидую тебе, честное слово, завидую! Лучше, право, в девках помереть, чем, как я, к тридцати годам по мужикам поистаскаться, душу о них стереть, как на терке, так что дыра одна, а не душа, аж латать нечего... Что толку, что к Богу пришла, в грехах покаялась...

– Как что толку! – вскричала Маша. – Простил Он тебя!

– Простил. А душа вся в шрамах. В грубых, можно сказать, келоидных рубцах. Хорошо, ее люди видеть не могут – инвалида эдакого.

– Перестань, перестань, – бросилась утешать Маша, не выносившая вида чужих страданий. – Люди одно видят, Бог – другое. Главное, что покаялась и исправилась. С мужем, говоришь, обвенчана.

– Обвенчана, обвенчана, – раздраженно пробормотала Эмма. – Мало ли, кто с кем венчается.

– Нельзя так! Нельзя так про таинство! – всплеснула руками Маша.

– А-а... – ее поразил полный безнадежности жест руки Эммы – только бриллиантик сверкнул. – Как была б..., так б... и осталась. Только б... свое узаконила, вот и все. А Бог видит.

Что на это отвечать, Маша не знала, но вдруг ее поразила странная мысль: «А ведь она очень гордый человек, очень! Такой гордый, что и представить себе нельзя! Это и есть ее главный грех, а не... ну не это самое вовсе. Потому что в таких тяжких грехах как блуд гордые люди легче всего каются. Ведь это доказывает их привлекательность и... опытность! Если б она убила кого-нибудь, тоже легко призналась бы: большой грех – большая личность, на мелочи не разменивается! А вот если б она стащила что мелкое или жульничала – ни в жизнь бы не призналась: масштаб не тот... И что за мысли в голову лезут, неужели кагор так подействовал?!».

– Я вообще, знаешь, очень одиозная личность, – как бы сама над собой подсмеиваясь, продолжала Эмма. – Я даже однажды шоколадку из магазина украла.

– Что... сделала? – обомлела Маша, но не от ужаса перед содеянным Эммой, а от своей странной прозорливости.

– Па-аперла! Она лежала, а я ее – цап! – и женщина беззаботно рассмеялась, будто разом позабыв про свою недавнюю печаль, и ее мелкое преступление сразу стало выглядеть в глазах Маши не гнусностью, в которой стыдней признаться, чем в убийстве, а обаятельной богемной выходкой. – Почитать тебе мои стихи? – и, не дожидаясь согласия и не меняя позы, Эмма размеренно, ритмично пропела:

*Постройтесь, все люди добрые,
Поройтесь в своей груди.
Сегодня пойдем мы, – голые! –
Под небом в котле бродить.
А дрожжи сухие, старые,
Их дрожью и не возьмешь,
Ты, Машенька, над опарою
Напрасно рученьки бьешь.*

*Кто светится, тот надеется,
Кто просит, тот не простит.
Иду я к Марии-Девиге
Проститься – Она простит.¹*

Из всего стихотворения Маша усвоила две вещи: первая – в нем дважды прозвучало ее собственное имя, а вторая – в стихотворении заключен глубокий скрытый смысл, до которого ей не докопаться, но интуитивно спросила:

– А «Она» – с большой буквы?

– Естественно, – пожала плечом Эмилия. – А вот еще:

*И мотылек, сгорающий на свечке,
Всей смертью своей провидит – вечность
О двух крылах сияющих и белых...*

– она замолчала.

– Все? – глупо спросила Маша и столкнулась с таким ответным взглядом, что поторопилась исправиться:

– А еще?

– Ладно, последнее...

*Спящему снится покой,
Спящий проснется едва ли.
Все остальное – детали,
Все остальное – на кой?*

Маша понимала, что трудно произнести что-либо более идиотское, чем попросить автора объяснить свои стихи, и потому удержалась, хотя стихи – все – на слух ей понравились, и было очевидно, что личность, их породившая, в любом случае, значительна и можно лишь гордиться таким знакомством. А Эмма вдруг опять коротко хохотнула:

– Слушай, ну мы с тобой даем! Я для чего к тебе сегодня пришла-то! Я же сказку твою тебе принесла! Мы же о ней поговорить хотели! А о чем только не говорили! Ну мы и хрюши с тобой!

– Не надо! – чужим сдавленным голосом ответила Маша. – Я... уже понимаю. После стихов, после разговора всего... Тебе не могла понравиться моя сказка. И все другие – тоже. По сравнению с тем, что ты пишешь, они действительно... Не утешай меня! Ничего не стоят. Но это неважно, я ведь для себя, в общем, пишу. Я учитель, мне простительно. Так что не надо. Не хочу опять ставить тебя в неловкое положение.

– Надо же... – пробормотала Эмма, как сама себе. – И выпили-то всего ничего, а уже как нормальный человек заговорила...

– А до этого – как какой? – наведальась Маша.

– Как... извини... немножко чокнутый. И сказка, собственно, такая же. Давай, я все-таки скажу тебе вкратце, только ты не перебивай и не обижайся. Я так рада, что ты и сама все поняла, и вообще, что ты такая, и мне не нужно тут приседать и думать, как бы госпожа авторша от расстройства в обморок не хлопнулась. Или в волосы мне не вцепилась – и такое бывало в практике... Так вот, – и Маша стала свидетелем внезапного превращения: вместо бойко-языкатой и раскованно-сентиментальной дамы, перед ней вдруг оказался жесткий и деловой профессионал. – Во-первых, эти ваши сказочные страны. Что у них, простите, за названия? Злалия и Добралия. Так и язык, матушка,

¹ Здесь и далее – стихи поэта А. Маничева (р. 1970)

сломать недолго. Но не суть. А суть в том, что эдак подносить читателю, пусть даже и ребенку, на ладони «что такое хорошо и что такое плохо» – это простительно только Маяковскому. И то у него все достаточно спорно и преподносится в игровой манере. У вас же – как топором отрублено: здесь добро, а здесь зло. Думать не над чем, а значит – неинтересно. Далее. Эти ваши герои, мальчик и девочка, – они, извините, кто? Гномики? Эльфы? Еще какой-нибудь милый лесной народец? Так вы же человек православный, и сказка ваша претендует на православность, а по нашей вере все эти... мм... мальчики и девочки, которые у вас... минуточку... «спали под кусточком и умывались капельками росы», называются однозначно: бесенята. А у вас они... гм... «больше всего на свете любили Господа нашего Иисуса Христа...». Это как понимать такое, мягко говоря, несоответствие? Не перебивайте, я знаю, что вы хотите сказать: детское восприятие и прочая глупость. Не делайте из детей идиотов. И потом, вы что, Нарнии¹ начитались? Так оттуда, во-первых, уши Генриха Восьмого² так и торчат, а во-вторых, там просто адик в миниатюре... И у вас, прошу прощения... Самый добрый волшебник, помогающий детям, имеет, цитирую: «серебряные хорошенькие копытца...» Вы что, не в курсе, кто на копытах ходит? И прочее, и прочее: феи всякие, которые гадают по зеркалу... Священнику вашему, вы, конечно, не показывали? Нет? Я так и думала: он бы вам прописал по первое число... Теперь метафоры: «румяная заря»... Ха. Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос³... Извините. Русые косы, серебряные ручки, светлые ангелы, добрые дети, изумрудная трава... Что бишь еще? Да, голосистый соловей! Это уже романс. Слушайте, вы же филфак, наверное, закончили. Я тоже. И мы с вами с первого курса знаем, как это называется: литературные штампы. У меня от них судороги скоро начнутся. А что за язык у вас, для чего вы сюсюкаете, как у кроватки грудничка? Что это за пальчики, лапки, колечки, туфельки – всякие малюсенькие, золотенькие, гнусенькие... кхм... еще раз пardon. Но от сладкого тоже стошнить может. Я бы в вашу эту Добрар... Добрла... тьфу... Добралию... и носа бы не показала. А если вы таким видите Царствие Небесное, то я вам не завидую: именно в таком месте вы и рискуете оказаться... впоследствии... Впрочем, это меня уже заносит... Вы как – очень обиделись, или нет?

– Нет, наверное, – прошептала успевшая десять раз покрыться пурпурными, как персты Эос, пятнами и столько же раз побледнеть обратно, Маша. – Вы правы, наверное. Только я, честное слово, ничего плохого в виду не имела. Я просто так – видела. И как видела, так и писала...

– Да знаю я, что не имели, и видели, и писали... Я сама иногда в стихах такое ляпну... Ну, в общем... Короче, вы ваш стиль меняйте там как-то – от души советую. Вы, кажется, недавно начали, так может, и насобачитесь еще, – щедро предположила Эмилия и вздрогнула:

– Стойте! Который час? Что-о?! Все, Маша... О, Господи, я опять на «вы» перешла. Не сердись, я с тобой говорила как с автором, а с ними на «ты» никогда не получается... В общем, я должна бежать, чем скорей – тем лучше. Давай. Мы с тобой ведь встретимся еще, да?

– Ой! – всполошилась Маша. – Пирожки-то! Мы их так и не тронули! А тортик твой, Эмма! Что же это мы!

– Сама съешь – опаздываю, пропадаю!

– Эмилия кое-как напяливала в прихожей свой шикарный, цветом и фактурой на вид, как мох, плащ.

¹ К.С. Льюис «Хроники Нарнии»

² Генрих VIII (1491-1547) – английский король, введший в XVI веке в Англию придуманную им лично «Англиканскую» религию, вместо Католической, исповедовавшейся там ранее, с целью вывести Англию из-под влияния Папы Римского

³ Гомер «Одиссея», пер. В. Жуковского

– Я заверну тебе! С собой! Пирожки! – и Маша ринулась обратно в комнату, сразу напоровшись на некстати преградивший дорогу стул... Они торопливо попрощались у двери – и Эмилия Бригман, держа в руках сверток с остывшими пирожками, выпрыгнула вон, а Маша запоздало крикнула ей вслед: «АнгелаХранителя!».

...«Да, конечно, – повторила Маша. – Эмма должна знать такие вещи. Это, кажется, что-то связанное... Ну, в общем, с эротикой... Бедный парень – Афанасьев, может, я зря его, всетаки...».

Спешно умывшись, причесавшись и надевая теперь новое выходное «а ля Эмилия» платье для выпускного вечера, она подумала: «Вот в этом и нужно встретить завтра утром Игоря. И волосы... распустить», – Машу аж в дрожь кинуло от такой крамольной идеи, но руки уже взметнулись к жалкому пучочку, скрепленному одной большой заколкой... И лицо ее в обрамлении чудных, пепельных, чуть вьющихся волос вдруг предстало перед Машей в новом, не оцененном до сих пор свете. Она-то привыкла к своему типичному лицу учительницы, а Игорь? Каким он его увидит? – и от этой мысли Маша явственно ощутила, как оступилось на миг сердце – а потом снова жарко и счастливо застучало... Застав себя оторваться от собственного отражения, вдруг ставшего невероятно соблазнительным и юным, Маша окинула взглядом оставшийся фронт работ: основные дыры были замазаны и заклеены газетой, обои удалось наклеить примерно на одну треть... Что ж, да она, можно сказать, гору свернула! Что осталось? Пустяки: доклеить – это уже просто, мебель расставить – да, повозиться придется... Помыть пол... Кухня еще. Но там все, вроде, аккуратно. Плафончик она протрет, тюль быстро выстирает и мокрым еще повесит... К чаю все куплено, даже кура в холодильнике лежит, на случай, если Игорь вдруг основательно проголодается...

Маша вовсе не гадала – что они вместе будут делать, о чем им говорить, единожды в жизни два с половиной года назад встретившимся людям, – она спокойно и твердо верила, что Тот, в Чьей воле соединить их сегодня перед Своим лицом – Он и подумает об остальном. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, – твердила она, как молитву, – ибо завтрашний день сам будет заботиться о себе...¹».

3

Голова болела нестерпимо. Промаявшись некоторое время на постели среди смятых простыней и вволю побив кулаками так и не пожелавшую принять удобную форму подушку, Эмилия встала и накинула легкий халат. Мучительно скривившись, оглядела пол, но тапочек так и не обнаружила. Муж лежал носом к стенке так тихо, что можно было усомниться, дышит ли он вообще, но проверять Эмили не хотелось: она уже знала, что любые пьянки пока еще бессильны причинить вред его несокрушимо здоровому организму, и он через пару часов, как ни в чем ни бывало, поднимется, готовый к новым подвигам во славу Бахуса.

Мысленно плюнув на тапки, Эмилия босиком направилась из спальни в ванную, но там ощутила такой отчетливый приступ общей дурноты, что, раздумав умыться, тихо пошла на кухню, чтобы залить для начала водой ярко выраженный сушняк, а заодно и побороть как-нибудь головную боль. Кроме того, как и обычно после особо рьяного застолья, ее посетили муки совести, почти такие же сильные, как и физические страдания. «Надо прекращать так пить. Надо прекращать так пить. По крайней мере водку красным не запивать. И пивом тоже», – в который раз честно вознамерилась она. На кухне ждал подарок: оказалось, вчера не допили минеральную воду, и в двухлитровой бутылки ее плескалось примерно на четверть. Одним движением Эмилия сорвала пробку и приникла к пластиковому горлышку, утоляя звериную, удушливую жажду... Потом налила себе стакан обычной кипяченой воды и растворила в ней две таблетки антиалкоголя и одну –

¹ Евангелие от Матфея, гл.6, ст.34

аспирина, бессознательно действую по принципу «что-нибудь – да поможет», и залпом проглотила свою микстуру. Присев на краешек кухонного стола, механически прикурила последнюю сигарету из перекореженной пачки, но тотчас с отвращением затушила ее в чьей-то невымытой тарелке. Медленно приходя в себя, уставилась в окно, за которым давно уже разошелся всюю не по-питерски жаркий и яркий день. «Около двух, наверное...» – лениво подумала Эмилия, глядя, как прямо у нее под окнами весело наливается пивом разнополая кампания молодежи, по виду – свежей испеченных выпускников. – «Выпускной у них не раньше пяти, а они, наверное, с утра надираются...».

При этом мысли Эмили тяжело перевалились на ее литстудию при школе, которую ей буквально навязали. Но с этой стороны проблем не предвиделось: питомцев своих она для праздничка хорошо поднатаскала, так что без нее там прекрасно обойдутся. Но еще что-то, связанное с этой школой, не давало покоя Эмили. Что-то такое, будто вчера... Почему вчера? Вчера ведь она в школу не ездила, а здесь отмечала свою годовщину свадьбы. Тогда что это такое у нее внутри – и определенно со вчерашнего вечера – защемило, интересно?

– Школа-школа-школа... – по привычке пропела Эмилия. – Маша... Боже мой, Маша! – и сразу перед ней встал один из многих эпизодов вчерашнего насыщенного дня.

К тому времени выпили изрядно и даже успели сбегать за добавкой. Но застолье еще не соскользнуло с той никогда не заметной грани, когда оканчивается интересная и вполне разумная общая беседа, гости разбиваются на группки по интересам, внутри каждой из которых идет свое полувнятное общение и разливают уже только "на своих". Тогда еще поддерживали светский разговор, хозяйка, как положено, уделяла, по мере сил, внимание всем гостям, люди заботились о впечатлении, производимом на окружающих, но спиртное успело развязать языки и вызвать на откровенность. В то время – последнее перед соскальзыванием за грань разделения – и зашел неизбежный разговор о любви мужчины и женщины с очередными тщетными попытками докопаться, наконец, до ее никому не известной сути, а в целом – решали конкретный вопрос: а существует ли она вообще? Люди, казалось, подобрались компетентные: все – литераторы, все так или иначе вынуждены были писать о ней, кое-кто полагал, что ему довелось испытать ее на личном и чаще всего горьком опыте, а кто-то считал, что переживает ее и по сей день. Вот тогда у Эмили первый раз и кольнуло в сердце: ее муж вдруг однозначно примкнул к лагерю тех, кто яростно доказывал, что такой любви не существует вовсе. И когда он это делал, Господи! В день годовщины собственной свадьбы. Находишь Эмилия в кампании, где его не было, или просто при других обстоятельствах, она бы, пожалуй, охотно вступила в ряды разоблачителей этого сомнительного чувства: она тоже по-настоящему давно в нем разуверилась и внутренне была полностью согласна с нетрезвой позицией супруга: любви не существует, это изначальная приманка для продолжения рода разумных тварей – иначе именно из-за их разумности род человеческий пресекся бы еще в зародыше – рождение потомства может породить хорошее отношение друг к другу, необходимое для воспитания того же потомства, а после того, как оно вырастет – для поддержки друг друга в старости; в нераспавшихся браках супруги, благодаря привычной физической близости, становятся ближе кровных родственников, но это лишь потому, что совместно творимое срамное дело сближает поголовно порочных людей тесней каторжной спайки; романтика влюбленности, первые встречи и сердечный трепет – следствие химических реакций, и чтобы убедиться в правоте данного утверждения, достаточно лишь взглянуть на голубя, изо всех сил пыжащегося перед притворно равнодушной голубкой или на чету сиамских кошек, любовно вылизывающих друг дружке уши: даже в природе теплокровные не спариваются спонтанно!

Да, с готовностью и сама Эмилия выплеснула бы эти слова из своего ожесточенного сердца, но казалось нелепым и несколько противоречивым толкать согласно с супругом подобные речи в годовщину свадьбы! Именно поэтому решительно перелезла Эмилия на другую сторону баррикады, где не было аргументов, кроме хрестоматийных

литературных и не очень надежных исторических образов. Зато в ее жизни такой потрясающий пример имелся.

– Послушайте! – громко призвала Эмилия. – Я знаю такую женщину. Не принцессу и не выдающуюся личность. А всеми нами любимого «маленького человека». Учительницу из той школы, где у меня эта дурацкая студия. И имя у нее самое что ни на есть простое, проще и некуда даже: Марья Ивановна. Правда, фамилия подходящая, очень романтическая – Туманова. Вот мы с вами не знаем, а она знает... – и с незначительными, но красивыми и к месту преувеличениями, эффектными паузами и риторическими вопросами Эмилия поведала заинтригованному обществу историю Машиной любви и творчества, любовью порожденного.

Рассказывать Эмилия умела и любила, поэтому слушали с неизбывным вниманием, хотя и с разным выражением лиц.

– Бред, – постановил муж Эмили. – Чушь такая собачья, что даже слушать неприятно. Эта твоя Мариванна дура настолько кромешная, что странно, как она институт какойто закончила. У нее же олигофрения в степени легкой дебилности.

– Да ну, чего ты! – загомонили литераторы на разные лады. – Может, ты ее парню, Игорю этому, завидуешь просто...

– Да правильно он говорит, дура она и есть дура...

– Даже жалко девчонку...

– Нет, пусть она уж лучше своего принца всю жизнь ждет, чем из постели в постель прыгать...

– Да вы что, ребята, это ведь действительно чушь, да и кому надо? Я бы, например, не хотел, чтобы по мне какая-нибудь баба так сохла – себе дороже...

– Да ну ее на фиг, есть о чем говорить, юродивых на Руси, как собак нерезаных...

«Кажется, это я напрасно, – мелькнуло у забившейся в угол Эмилии. – Нехорошо получилось по отношению к Маше: как на арену ее выгнала... И дернул меня черт еще и имена все назвать! Спяну, блин, сболтнула. Ладно, ее все равно никто не знает, а все-таки...».

– Стойте! – вдруг перекрыл все голоса зычный рев ее мужа. – А сказку мы с тобой читали, ты приносила, – это что, ее тоже? – и после Эмилиного кивка: – Ребя-ата, у нее точно не все дома: эти сказки, которые она пишет, доложу вам... Не-ет, *таких* дураков просто оставлять нельзя, их учить надо. Они опасные. Ничего нет на свете страшней дурака...

У мужа Эмили в дружеских кругах была странная, но, пожалуй, меткая кличка «Черт». Иначе его не называли, да он и откликался охотно, когда жены не было рядом: в своем присутствии Эмилия категорически запретила произносить это непотребное слово, но ей передавали, что молодым поэтам он даже представляется: «Пороховщиков. По прозвищу Черт». Она и ругалась, и закатывала истерики, взывая к его атавистическим христианским чувствам, но напрасно: своим прозвищем муж гордился. Он даже не обманывал себя в том, что не одной внешности может быть за нее благодарен. Высокий и узкий, раб только черного цвета в одежде, с тонким хвостиком блестящих, цвета галочьего крыла волос, с неизменным антикварным пенсне на умеренно крючковатом носу, а то еще – в особых случаях – и с моноклем, он намеренно подогнал себя под уже полученную кличку, отрастив острую эспаньолку и обзаведясь внушительным перстнем с неизвестным прозрачным камнем, имевшим будто действительно дьявольскую способность иногда вдруг рождать где-то внутри яркую темно-красную точку. Таковыми бывали порой и его глаза – быстрые острые буравчики, периодически потаенно вспыхивавшие в глубине... При всем том не был ее Олег ни угрюмым, ни замкнутым, но почти всегда – язвительным и скорым на устную виртуозную расправу с недругом, и некоторые предпочли бы лучше попасться на кулак громиле-бандюку, чем на язык безжалостному Черту. С женой он был ласков и услужлив, когда не пьян, а пьяным выписывал языком и, случалось, ногами, такие коленца, что люди наутро

удивлялись, как за язык его еще никто не прихлопнул, а ноги не принесли хозяина напрямик в преисподнюю. Олег Пороховщиков писал неплохие стихи в стиле декаданса, собирая вокруг себя столь же жизнерадостных единомышленников, успешно торговал при этом компьютерными программами, которые сам же походя сочинял, да еще и помогал жене зарабатывать на пирожные, своей доли при этом не требуя... А вчера он разозлился на незнакомую ему Машу, и Эмилия видела, что разозлился не на шутку – так взъедаются на тех, кто сумел задеть за живое...

– Учить их надо, учить! Так учить, чтоб неповадно было! – орал изысканный поэт Пороховщиков, и Эмилия понимала, что причина гнева – она сама: не любит, не ждет, снисходительно принимает, забывая о его существовании, стоит ему выйти за порог... – Чтоб дурью не маялись – учить!!!

Эмилия откровенно жалела о заваренной ею каше и, пока расходился ее собственный черт сам с собою, праздник как раз и миновал ту черту, за которой никому ни до кого нет дела... Эмилия, вовсе не считая себя обязанной весь вечер успокаивать распалившегося мужа, оставила его одного пить коньяк, а сама примкнула к паре потешно и не всерьез ссорившихся дам, напросившись им в третейские судьи...

Все кругом уже утратило привычное значение, замелькало светло и приветливо, и радостно было коситься иногда то в отражение на мебели, то откровенно – в зеркало на свою благополучную во всех отношениях особу. И в один из таких моментов Эмилия увидела рядом со своим отражением Олега, быстро пересекавшего комнату с телефоном в одной руке и с ее, Эмилиной сумкой в другой. «Хорошо, я деньги оттуда вынула,» – порадовалась Эмилия, с трудом пытаясь сопоставить свою сумку с телефоном и злобой мужа на Машу Туманову. На минуту она вздрогнула, но сразу обмякла, вспомнив, что телефона у Маши нет, а стало быть, позвонить ей в нетрезвом состоянии и испугать до полусмерти муженек не сможет: в книжке только адрес. На всякий случай Эмилия неуверенно двинулась за ним: следовало проконтролировать – но наткнулась на запертую дверь ванной, под которую убежал телефонный шнур. Сумки тоже нигде не было видно.

– Олег! – твердо позвала Эмилия. – Моментально отдай мою сумку!

– Ха. Ха. Ха, – раздалось из-за двери.

– Что ты хочешь с ней сделать? – спокойным тоном спросила Эмилия, хотя внутри похолодела: в сумке – книжка с телефонами, сейчас позвонит кому-нибудь, гадость ляпнет по пьяни – потом полжизни не расхлебашь. Тут она услышала короткий писк, каким у них сопровождался набор цифр – и забарабанила в дверь:

– Открой немедленно! Не смей никому звонить в таком виде! Завтра может выйти скандал – сам не рад будешь! Что ты там, наконец, задумал?!

– Дуру жизни научить! – послышался вроде и мирный, но с оттенком легкой свирепости голос супруга.

– Кошмар какой-то, – пробормотала Эмилия, но опять вспомнила, что у Маши нет телефона и общих с ними знакомых, так что с этой стороны ничего не грозит. Она подумала отключить телефон, но сообразила, что после ремонта он не отключается: провод вылезает прямо из стены где и замурованы все приспособления. Она прислушалась под дверь: в ванной хлынула на полную мощность вода, заглушив звуки мужнина голоса. «А-а, – махнула рукой Эмилия. – Начальству не позвонит: инстинкт самосохранения сработает. А кому другому – не страшно: сам потом извиняться будет», – и она вернулась к гостям, уже затребовавшим сладкого, и, подавая торт, а потом им же, вкуснящим, и увлекшись, намертво забыла и про Машу, и про самоизолировавшегося мужа. Когда же он появился, Эмилия как раз дегустировала с приятельницей принесенный той «только для дам» ликер на розовых лепестках, и потому лишь спросила Олега:

– Кому звонил-то? Завтра со стыда не помрешь?

– Не помру. В Москву звонил, – определенно ответил Черт.

– Не издателю моему?! – вскрикнула Эмилия не своим голосом, потому что эта возможность своим ужасом на миг заслонила собой мир.

– Что я – псих, что ли?! – вполне трезво возмутился муж, и Эмилия успокоилась.

...Вот теперь, сидя на кухне у окна на столе с грязной посудой и страдая настоящим отходняком, она пыталась по-новой прикинуть, кому все же Олег звонил по ее книжке и не мог ли причинить неприятности Маше, которую так невзлюбил. День стоял на пике жары, солнце поджаривало пустынную детскую площадку, мозги ворочались с великим трудом. «Да нет, куражился просто», – пришла Эмилия к окончательному заключению. Она налила себе еще воды, с удовольствием чувствуя, как приходит в норму подвергнутый вчера нешуточной встряске организм, и, как обычно после возлияния, предалась горестным мыслям о собственной жизни – что, впрочем, делают все совестливые люди.

Имя-отчество она и правда получила от отца-англичанина. Доктор Цезарь Дж. Бригман побывал внутри железного занавеса в самом начале семидесятых, когда уже стало ясно, что оттепель так и не закончилась полнокровной весной, но основным врагом Советского Союза считался еще Китай. И оказалось возможным пригласить в одну из ведущих клиник Ленинграда группу молодых кардиологов-капиталистов для ознакомления с принципиально новой методикой шунтирования. Капиталисты по-русски не говорили, а специально приставленный переводчик отчаянно путался в медицинских терминах. Вот и выпала интерну Кате Кузнецовой, сумевшей прилично изучить английский и закончить мединститут, участь постоянного переводчика при группе глупо-серьезных англичан. Кате исполнилось двадцать два года. Она к тому времени уже начала тревожиться о женской своей судьбе – и закономерно завязался у нее предосудительный роман с симпатичным, как она считала, англосаксом. Цезарь оказался человеком раскрепощенным и свободным от условностей, в результате чего Катя очень быстро почувствовала не только косые взгляды со стороны, но и некоторые необратимые изменения в собственном организме. Мечась в тоске, она решилась все-таки открыть тайну любимому, хотя внутренне и была обреченно готова к тому, что он сразу же от нее откестится. Но к радостному удивлению Кати, Цезарь проявил бурный восторг и в приливе нежных чувств закружил девушку по комнате:

– We must marry! We must marry immedeatly¹! – беспрестанно повторял он, целуя рыдавшую от избытка чувств Катю.

Ни он, ни она не знали, что для регистрации брака с иностранным гражданином – да еще подданным английской королевы! – советской девушке нужно собрать огромную пачку всяческих разрешений, справок и прочих характеристик, устоять перед настоящими допросами в органах госбезопасности – и везде доказывать, клясться и заверять, что она не вербуетя в шпионы иностранной разведки, а просто хочет выйти замуж за любимого человека, от которого ждет ребенка...

Когда беременность скрывать было уже невозможно, и обладателю каждого сурового ока стало ясно, что Катя успела вступить в преступную связь с иностранцем, ее взяли в такие тиски, что она на некоторое время даже прекратила свои домогательства, боясь уже не запрета на брак, но посадки в тюрьму... В это время и родилась у Кати здоровая, несмотря на кошмарные переживания матери, девочка. Цезарь, чье пребывание в Советском Союзе логически заканчивалось, восклицал над детской кроваткой:

– Emily! My tiny Emily²! – и умиленно целовал светлые колечки младенческих волос.

Против имени Катя возражать не посмела, переиначив его все-таки на какой-никакой, но русский манер – Эмилия. За день до отъезда Цезаря в Лондон, после чего Кате предстояло биться с бюрократической машиной в одиночку, счастливые родители отправились вместе в Загс регистрировать новорожденную. Регистраторша не выразила никакого удивления, увидав рядом с краснокожей паспортиной матери невиданный иноземный документ отца.

¹ Мы должны пожениться! Мы должны пожениться немедленно! (англ.)

² Эмили! Моя крошка Эмили! (англ.)

– Для ребенка главное – мать, – резонно сказала она. – Мать – советская гражданка, значит, и ребенок наш. Как, говорите, назвали? Эмилия? Ничего, сойдет, тут одни на днях сына Навуходоносором назвать хотели. У них папаша вообще негр был, – и она добросовестно вывела черной тушью в графе «имя» – Эмилия.

О дальнейшем в их семье из года в год Екатерина Николаевна рассказывала следующий анекдот:

– На фамилию, надеюсь, на свою запишете? Кузнецова.

– Ньет! Кузнецова – ньет! – неожиданно перешел на русский язык «папаша», чего никогда раньше делать не пытался. – Онаа йест Бригман.

– Кхм, странная какая-то фамилия... английская, – растерялась делопроизводительница.

– Оу, е, сэнэйм! Бригман! – сиял во все зубы счастливый отец. Чиновница перевела испытующий взгляд на довольную Катю:

– Он по-русски, что – совсем ни бе, ни ме?

– Оу, е-ее, бе-ее, ме-ее! – радостно подтвердил Цезарь.

– Ну вы же видите, – кивнула на него Катя.

– Тогда вот что, – приняла быстрое решение чиновная дама. – Пишем на вашу: он все равно не разберет. А то шутка ли – его фамилией ребенку всю жизнь испортить! Не докажет же никому, что из англичан. Надо же выдумал – Бригман.

– Оу, е-ее, Бригман!

– Пишите – Бригман, – требовательно сказала Катя. – По крайней мере, это будет значить, что он точно признал ребенка своим. И вообще, знаете... – она понизила голос. – Мы собираемся в Англии жить. А там Кузнецова как-то...

– Ах, вот что... Ловко придумали, нечего сказать... Ребенка от буржуа завели, и с Родины – тью-тью... Ясенько...

– Не ваше дело! – вспыхнула Катя. – У нее отец – Бригман, значит, и она – Бригман.

– Да пожалуйста, мне-то что... Локти себе только потом не пообкусайте. Ладно, запишем, Бригман... А с отчеством что будем делать? Как зовут вашего... Ну, его, в общем? – и, уже увлекшись, эпизодом, приятно разнообразившим рутинную работу, женщина скосилась на светившегося глазами и зубами Цезаря: – Нейм ваше? Тьфу ты... Вот из ё нейм¹? – поднатужившись, наскребла она по сусекам основные иностранные слова, вынесенные из школы.

– Ки-иза! – вежливо ответил вопрошаемый.

Регистраторша испуганно взглянула на Катю:

– Ка-ак?! Киса, что ли?! Отчество-то от чего писать будем?

– Да Цезарем его зовут, если по-нашему, – протараторила Катя, чтобы скоростью затемнить для «Кисы» смысл. – Цезаревной пишете.

Но год проживший в Ленинграде англичанин, как оказалось, какието слова всетаки для себя перевел.

– Тсезар – ньет! Ай йест Киза! – замахал руками он, напирая на стол.

– Пишите, как я сказала, он все равно наших букв не знает, – бросила Катя и с ласковой улыбкой оборотилась к любимому:

– Yes, sure, Caesar. You are Caesar².

Так Катина дочка и стала Эмилией Цезаревной Бригман. Над анекдотцем очень смеялись, но ни одна живая душа так никогда и не узнала, что он имел свое продолжение: эту тайну Екатерина Николаевна твердо решила унести с собой в могилу, чтобы ни одно сомнение не закралось никому в душу...

– Ладно, теперь национальности, – сказала женщина, когда вопрос с именами утрясли. – Мать – русская, а отца как запишем – англичанин?

¹ Как вас зовут? (испорч. англ.)

² Да, конечно, Цезарь. Ты – Цезарь.

– Наверное, – пожала плечами Катя и просто для проформы обернулась к своему Цезарю: – What nationality should she write? English¹?

Но вместо того, чтобы утвердительно ответить Кате, он безмятежно осклабился на регистраторшу:

– Оу, е-ее! Йа йест – хиброу! Understand? Джюу²!

– А-а? – резко повернулась к нему воспитанная в лучших традициях русского антисемитизма Катя.

– Е-ее, хиброу! – радовался Цезарь.

– Пишите – англичанин, – тихо сказала она.

...Сначала из далекой, словно заколдованной Англии, куда, чувствовала Катя, ей попасть уже заказано, приходили посылки с невиданными приспособлениями для рращения младенцев и расчудесные открытки, исписанные бисерным почерком, – но приходили все реже, реже, и все менее настырно пыталась Катя пробить головой брешь в железном занавесе – пока поток подарков и слов любви не превратился в ручеек, а затем и не иссяк совсем – тогда она перестала и хлопотать, и надеяться...

Эмилия помнила себя с трехлетнего возраста – если еще не раньше. Воспитывали ее мама с бабушкой, причем больше – бабушка: мама, участковый врач ближайшей к дому поликлиники, где – забавно! – числилась как больная у себя же на участке, пропадала на своей проклятущей работе ежедневно – то мотаясь по вызовам в любую погоду, то отсиживая бесконечные амбулаторные приемы, и, возвращаясь домой, часто валилась в отупении чувств на диван, а бабушка, тоже врач, только на пенсии, отпаивала ее травяными отварами. Эммочку обе обожали, хотели, чтоб было у нее все самое лучшее и вкусное, но могли только мечтать об этом, потому что доход семьи складывался из бабушкиной пенсии и маминой более чем скромной зарплаты участкового врача... А Эммочка, как назло, всегда ухитрялась подружиться с девочками из обеспеченных семей, благодаря чему обе женщины вынуждены были постоянно наблюдать разницу в материальных благах, достававшихся их любимице – и ее подружкам. Они пытались бесхитростно приукрасить для нее свой, например, простой и здоровый стол:

– Вот, смотри, Эммочка – как пирожное! Закроешь глаза – прямо не отличишь! – протягивала мама дочке булку с маслом и вязким яблочным повидлом.

– Нет! Убери! – отшатывалась девочка движением не капризного ребенка, а взрослой оскорбленной женщины. – Убери сейчас же! Я не могу! Не буду!

Из этого Екатерина Николаевна сумела лишь понять, что ее дочь терпеть не может булку с маслом и повидлом, предпочитая ей горбушку черного хлеба с солью, запиваемого простой водой.

– Эммочка, я тебе джинсовую юбку сшила – прямо как «Вранглер»! Наклейку пришить – никто и не догадается!

– Не хочу! Не хочу! Никогда не надену! Дворничихиной Дуньке отдай! – белея, как бумага и задыхаясь, кричала Эмилия.

И маме ее оставалось только удивляться – почему так чужда девичьему кокетству Эммочка и упорно отвергает вещицы, любовно составленные матерью из разных обрезков и остатков материи, зато без всякого стеснения носит готовые вещи, способные изуродовать даже первую красотку.

– Эммочка, детка, взгляни, какое я тебе колечко купила к выпускному вечеру! Совсем как золотое и будто с бриллиантом, очень благородно выглядит. А стоит – смешно сказать! – два сорок.

– Сама носи! Я никогда в жизни, никогда... – и Эмилия начинала по-настоящему горько плакать.

¹ Какую национальность писать? Англичанин? (англ.)

² О, да, я – еврей, понимаете? Иудей! (искаж. англ.)

Опять разводила руками Екатерина Николаевна, не в силах взять в толк – откуда в дочери такой аскетизм! В еде – неприхотлива, к одежде – нетребовательна, никакой бижутерии, косметики, на чем все сверстницы помешались – на дух не выносит... Читает, конечно, много ее девочка, головка золотая, толк выйдет – но ведь и о будущем думать надо! На такую-то замухрышку кто позарится! И волосы у нее не растут в придачу – такие жалкие короткие перышки только и годятся на стрижку под мальчика. Как внушить ей, что там, где природа недодала, кое-что и самой подстриховать нужно... И одеваться, конечно, не в галантерке напротив.

– Почему, дочка? Ну почему? – спросила она однажды в добрую минуту.

– Потому что больше всего на свете я ненавижу это твое «как», – сурово ответствовала дочь. – «Как» – это не настоящее, это всегда подделка, это ранит меня куда-то прямо в душу. В детстве сказала бы ты мне: вот тебе булка с маслом и повидлом – и я бы всю жизнь ее ела. Но ты: как пирожное. Ах! И всегда все было – «как». Как «Вранглер», как золото, как, как, как... Пойми, я не могу этого выносить! А теперь вот – накрась лицо, надень модное платье – и будешь «как красавица»! Нет уж! – она вскочила и, сжав кулаки, заметалась по комнате, голос зазвучал страстно: – Нет! Лучше ничего, чем фальшивка, понятно? Лучше черный хлеб, чем ложное лакомство, лучше самая простая одежда, чем «под фирму» лучше остаться в жизни не у дел, чем получить что-то не по праву, а благодаря искусственному лицу! А, ты боишься, я старой девой останусь? Не бойся! Наверняка еще есть мужчины, которые хотят жениться на человеке, а не на матрешке! А если уже нет – тогда пусть, пусть я останусь в девицах!

– Что-то очень гордая ты, дочка, – тихо сказала Екатерина Николаевна. – Идеалы-то твои, вроде, и неплохи, а только есть в них что-то... Сама не знаю, что... Высоко залетела ты, смотри... Хорошо, если там и останешься, не упадешь. Потому что, если упадешь – разобьешься...

Но Эмилия не разбилась, хотя ударилась больно: видно, крепкая была изначально. В девицах она, конечно, не засиделась, а, наоборот, выскочила замуж восемнадцати лет отроду за человека порядком старше себя. И не выскочила вовсе, хотя употребляли сей непотребный глагол абсолютно все, даже близкие подруги, а вышла замуж по любви – первой, чистой и единственной. И в основе ее счастливого брака, продлившегося целых четыре года, лежала не суетная внешняя приязнь, а глубокая гармония чувств, единство мыслей, тождественность предпочтений... И не слепой морок физической страсти спаял, казалось, навечно ее и любимого, а пронзительная нежность и жертвенность... Но через четыре года муж встретил другую женщину – старше Эмилии на семь лет! – и однажды с многократными оговорками, изматывающими запинками и опущенными долу глазами, попросил развода, пообещав оставить ей однокомнатную квартиру после размена. Далее сцена стала безобразной, потому что не ожидавшая удара Эмилия, до того дня ни разу не позволившая себе даже усомниться в стойких чувствах мужа, оказалась не готова к сюрпризам судьбы. Ей, наверно, думалось, что, будто в детстве, когда стоило потопать, поплакать – и как по команде смягчались бабушка с мамой и отменяли нестрогую кару, вроде запрета на просмотр мультфильма, – так и теперь, если она накричит, заревет, напомнит мужу об их чувствах, о сокровенном, пережитом вместе, – то он тотчас вышвырнет из своего сердца чужую и случайную женщину...

– Да что в ней есть! Что в ней есть-то, кроме крашенных волос да бюста, у этой лохудры! – вопила Эмилия все громче и громче и даже в глубине души изумлялась, что до сих пор еще не убедила любимого в своем несомненном превосходстве над соперницей, настолько оно было ей очевидно. – Как жить-то тебе с ней, если она просто кукла малеванная! Если у нее одна извилина в голове! Если она Пушкина от Маяковского не отличит! О чем говорить с ней будешь, когда из постели встанешь?! Скажите, хозяйка она хорошая, и в доме у нее чистота! Ты что – борщ хлебать всю жизнь собираешься?! Красавица она, не спорю – и что? Что ты с этой театральной маской делать собираешься?!

Где найдешь женщину, чтоб так все одинаково было, как со мной – и взгляды, и вкусы, и убеждения?! Да ты сравни меня и ее! На что тебе эта пустышка?!

– А я и сравнил, – гробовым голосом отозвался муж. – И не в твою пользу вышло.

– К... как... – оторопела Эмилия, позабыв даже вложить в слово вопросительную интонацию.

– А так! – и, внезапно расвирепев, он грубо схватил Эмилию за руку, проводок через всю комнату к шкафу, где распахнул дверцу – и почти бросил жену лицом на зеркало.

– Ты сюда заглядывала когда-нибудь?!

– Да ты что... – едва шевелила губами Эмилия. – О чем ты говоришь... Я знаю, что не красавица... Да, я не придавала значения... Я даже – презирала... Я думала, что для людей мыслящих... Интеллектуальных... Как мы с тобой... Не чуждых – духовности... Верующих в Бога... Это не имеет никакого значения... Никакого!.. Как же ты... Как ты мог польститься... И – на что...

Муж давно отпустил ее руку и теперь сидел на краешке дивана, свесив сцепленные ладони меж коленей и понурился головой. Наконец, поднял ее, и в глазах стояла грусть и... жалость:

– Дура ты, Эмка, дура ты полная, хоть и книжек до фига начиталась, – безнадежно покачивая головой, медленно говорил он. – Того ты не знаешь, что все мужики одинаковы – все, Эмма, до одного, без исключений... И всем нам – поверь! – нет ровно никакого дела до того, о чем вы там себе думаете. Разговоры, взгляды... Тьфу. Да безразличны мне твои взгляды, Эмма. И ее – тоже безразличны... Но мне важно, с какой женщиной я иду по улице, кого привожу к друзьям. Серенькую мышку, вроде тебя... прости. Или королеву, как она. А поговорить... слушай, да что я, мужика для такого дела не найду, что ли?! Идеи, мысли... Мне и своих – вот так! – хватает, чтоб я еще разбирался, какие они у женщины, с которой я сплю. Борщ хлебать, говоришь... Пусть и борщ. Да только это – дом. Очаг, если хочешь. И каждый мужик мечтает о красивой бабе – у очага... А ты... Жаль мне тебя, Эмма. Пропадающая ты совсем...

Так закончился ее идеальный брак, так упала Эмилия с высоты, но не разбилась, как предрекала мама, а пусть и с трудом, но твердо встала на ноги, подняла голову и – огляделась. Вспомнила вдруг, как тяжело ей, книжному червю, старательной и пунктуальной студентке, дался недавний университетский диплом. Не в пример холеным и бойким девахам с курса, и четверти по программе не прочитавшим, но зато разнаряженным, надушенным, искусственным – ненавистным. Как за невразумительные ответы, за жалкое овечье бляенье получали они на экзаменах четверки, а потом клали в карман полновесную стипендию, в то время как почти каждый экзаменатор, будь то мужчина или женщина, бесконечно терзал Эмилию казуистическими вопросами, с удовольствием наблюдая, как невзрачная тихоня сникает и тушуетя – и она почти обязательно хватала у кого-то из них три балла, лишаясь такой всегда нужной стипендии! Вспомнила, как непотребно орали на нее продавцы в магазинах, а если и молчали – то каким окатывали презрением!

Бессонными ночами каталась Эмилия по опустевшей супружеской кровати – и маялась, маялась, напряженно ища брешь в идеально нравственной системе своих жизненно важных позиций... Она с кровью и мучительными остановками шла и пришла к тому, что иные женщины инстинктивно постигают, еще не выйдя из детской коляски: любая дурнушка тут, в мире, обречена. Обречена во всем: в семье, где муж непременно решит попробовать – каково это, красивая женщина, а? – в общественной жизни, где охотней дадут дорогу симпатичной дебилке, чем умной уродке... Во всех слоях общества и человеческих собраниях, перед мужчинами и женщинами – обречена. Что ум женщины, ее неординарность, любая степень таланта может быть востребована людьми лишь тогда, когда их обладательница приятна на взгляд – незаметной же попросту не простят никакого замаха. Красота дарит необходимое: уверенность в себе и вводит эту

уверенность в привычку, гипнотизируя окружающих. Не обязательно быть совершенной Венерой, достаточно лишь миловидности – и можно, имея настоящие дары душевные, горы своротить... У дурнушки же чудный голос уйдет на пение колыбельных, художественный редкий дар – на оформление стенгазет, талант стихосложения – на грустные вирши, посвященные страданиям по бросившему мужчине...

«Нет, – сказала себе Эмилия в одну из таких одиноких бессонных ночей. – Со мной так не будет. Такие, значит, требования у вас, люди? Чтобы с вами ужиться, следует пойти на компромисс с убеждениями? А что мне эти убеждения – кушать, что ли? Поступимся. Но только вы сами и останетесь в дураках».

После развода Эмилия действительно получила однокомнатную квартиру. Ей хватило ума не съезжаться обратно со своей семьей – тем более что мама недавно вышла, наконец, замуж, и теперь, в сорок четыре года, ждала ребенка, невинно планируя старшую дочь-неудачницу в бесплатные няньки.

Эмилия поняла, что, прежде чем найти себе способ зарабатывать деньги, причем такие, чтоб в жизни у нее все было не «как», а самым что ни на есть настоящим, нужно начать с самого нужного и выстраданного. Она решительно сняла с шеи старинный кулончик с сапфиром – подарок бабушки любимой внучке к свадьбе – и без жалости отнесла его в комиссионный ювелирный магазин. Очень скоро в руках Эмилии оказалась сумма – для кого какая: кому – от души гульнуть разок в валютном ресторане с дивами и девками, кому – просидеть годик на хлебушке с молоком. Эмилия выбрала третье, на тот день главное: толкнула дверь давно намеченного элитного косметического салона, оснащенного компьютерами, шагнула в сторону приглянувшегося визажиста-стилиста:

– Я хочу изменить не только свою внешность, но и всю свою жизнь – совсем. Вы можете мне помочь?

И прошло семь лет.

Эмилии удалось упорядочить жизнь, или, как она сама выражалась, застолбить себе территорию. Появились и совсем неподдельные бриллиантики, купленные самостоятельно как символ самоутвержденного «я», понемногу заполнилась вполне обустроенная квартирка умной техникой, от души подаренные друзьями-художниками картины нашли каждая свое неповторимое место на стенах; в числе прибытков числился и второй презентабельный супруг – именно такой, какой и требовался Эмилии: с легким налетом тайны и ужаса – для посторонних, а для нее – милый домашний соратник и единомышленник, чей поводок хотя и был традиционно длинным, но ошейник имел необходимые острые шипы.

Поздно, в двадцать четыре года, начала Эмилия писать стихи, поудивлявшись про себя, как это она не додумалась до этого раньше – и быстро заняла хотя и скромное, но прочное и непыльное местечко в когорте избранных. О той невыразительной Эммочке, похороненной семь лет назад в давно исчезнувшем с лица земли салоне, новая – и великолепная! – Эмилия предпочитала добровольно не вспоминать. Призрак Эммочки, правда, оказался неуничтожимым и порой пугал Эмилию в минуты мимолетных приступов черной меланхолии, но в целом жизнью можно было наслаждаться спокойно, в чем она ежесекундно убеждалась, просто оглянувшись по сторонам. Зеркало, лицом в которое семь лет назад швырнул ее муж, Эмилия упорно хранила в качестве сувенира, а своему бывшему была исключительно благодарна за преподнесенный вовремя жестокий урок. Теперь из того зеркала смотрела изысканная женщина, от каких не отводят глаз, а если за что бросают – так уж точно не за внешность. Первой заботой так и остались волосы, ибо никакими усилиями нельзя приобрести себе то, чего практически нет. Прошлое разориться на натуральный шиньон в виде богато завитого хвоста, который крепился шпильками к макушке, куда подтягивались собственные жидкие, густо налаченные волосы. Ни один человек на земле, кроме мужа, конечно, ни разу не усомнился в естественности этой очевидной красоты. Лицо ежедневно подвергалось виртуозной обработке едва ли не дюжиной специалистами подобранных средств и

приспособлений – и в награду за этот утомительный труд Эмилия то и дело слышала от знакомых женщин: «Везет тебе, Эмма! Косметики, наверное, ни грамма не употребляешь, а выглядишь, как картинка!» Вульгарной краски Эмилия по-прежнему не терпела, добиваясь максимального приближения всех тонов своего лица к тем, какие могла бы подарить – но именно ей не дала! – природа. В одежде она придерживалась принципа «что мне удобно, то я и ношу» – и теперь вполне могла себе это позволить, так как удобными для новой Эмилии как-то сами собой оказались вещи дорогие, изящные, мягкие, выгодно преподносившие ее немного начавшую «ползти» фигуру.

Мечта писать поэтические книги и получать за свой труд деньги осуществляться не торопилась, но Эмилия, расставшись с прозрачными иллюзиями бытия еще семь лет назад, и не требовала от и без того задарившей ее жизни на данный момент невозможного. «Поэзия никому не нужна? Хорошо, давай-ка подумаем, кому она нужна. А нужна она тем, кто пишет».

И с того времени, как Эмилию посетила это не очень оригинальная мысль, в городе начали выходить сразу несколько литературных альманахов под разными названиями, тиражом до тысячи экземпляров, издаваемые на средства авторов. Редактором и составителем числилась никому не известная г-жа Иванова – иди, отождествляй такую фамилию с конкретной персоной! – а материал представлялся самый убогий, словно каждый альманах служил отхожим местом Пегасу.

– Идет обоз с Парнаса, везет навоз Пегаса, – заливаясь хохотом, скандировали супруги Пороховщиковы, занятые процессом подготовки в печать очередного объемистого тома.

Этот процесс вообще всегда был очень веселым: они выискивали и зачитывали друг другу неотразимые шедевры из авторских рукописей, хватаясь при этом за бока и едва не валясь со стульев («Да нет, ты только послушай: "Педали поют – под ногой! Детали растут – под рукой!"»). «Нет, а у меня...»), а работа их в основном сводилась к тому, чтобы выкидывать из чужих стихов, чаще всего вместе с самими стихами, явное непотребство, нецензурные выражения и сомнительные политические экзерсисы.

Авторы добросовестно несли своим редакторам деньги на издание, что вскладчину для них выходило не очень-то и дорого, зато в совокупности составляло круглую и симпатичную сумму, ровно половина из которой шла на оплату типографских услуг, а другая половина всякий раз приятно отягощала портмоне поэтессы Эмилии Бригман, являясь законным гонораром за составление, редактирование и администраторские заботы. Сумму эту она, конечно, не афишировала ни перед самими авторами, ни перед налоговой полицией...

Такой способ зарабатывать деньги, безотказно работавший вот уже пять лет, и заставлявший даже все расширять и расширять бизнес, Эмма не считала ни вымогательским, ни нечистоплотным. С авторов за хлопоты она брала «по-божески», ущерба читателю не наносила ровно никакого: знала, что каждый автор, получивший, согласно своему вкладу в сборник, от десяти до двадцати экземпляров, штук пять оставит себе «про запас» и «на память», а остальные раздарит своим неразборчивым знакомым, его стихами и без того многократно изнасилованным, украсив книжки то трогательными, то нарочито строгими надписями, – и на этом вхождение очередной книги в русскую литературу закончится. Эмилия отлично сознавала общественную бесполезность такого труда, но тешила себя мыслью, что дело ее глубоко нравственно: ведь ни одна живая душа на свете никогда не отпечатала бы добровольно ни строчки из этих хромых на все многочисленные лапки опусов. Но, поскольку почти все поголовно поэты напрочь лишены чувства самокритики, то невозможность напечататься серьезно гнетет их, порой доводя даже до непоправимого. Не лучше ли приоткрыть крышку этого кипящего котла – ровно на щелочку, куда выйдет пар чужих душевных нечистот, а для нее, Эмилии, милосердно взвалившей на плечи грязную и неблагодарную работу ассенизатора, превратится в тихо шуршащие жизненно необходимые бумажки... Знакомства в

окололитературных кругах, всяческих студиях, объединениях и содружествах у Эмили не переводились, клиент прибывал бесперебойно, оправдывая ее твердое мнение: что бы ни случилось, люди никогда не перестанут лечиться, учиться и писать стихи...

Но выпускался и еще один, уже не альманах, а просто пронумерованный коллективный сборник стихов, выходил нечасто, раз в квартал, с любовно подобранной обложкой и на мелованной бумаге. Коллектив авторов состоял не из разномастной банды, а из двенадцати-пятнадцати солидных поэтов, чьи имена постоянно мелькают на устах немногочисленной читающей публики и ценятся наперечет среди профессиональных литераторов. Там открыто стояло имя Эмили Бригман – как поэта и составителя. С этих авторов тоже, конечно, снималась умеренная плата за организационные хлопоты, но лишь достаточная для того, чтобы покрыть долю самой Эмили или Олега Пороховщикова. Оба они тщательно заботились о том, чтобы непременно донести сей увеличенный тираж до вдумчивого читателя, устраивали публичные чтения всем авторам, для чего неустанно мотались по городу в поисках подходящих площадок, не щадя сил, продвигали особо робких поэтов наверх. Нашли фонд, согласившийся издать большинство открытых ими достойных авторов отдельными книжками, не забывая, конечно, устраивать таковую поблажку время от времени и себе. Эмилия особенно пестовала многообещающих: абсолютно бесплатно писала для них пространные рецензии, не ленилась, посылала иногородним теплые поддерживающие письма, не упускала случая упомянуть в собственном устном или письменном выступлении запавшее в сердце имя восходящей поэтической звезды. Могла ночами не спать Эмилия, представляя себе готовящийся выпуск в законченном виде, прикидывая как бы повыгодней преподнести каждого из авторов, причем иногда даже допускала выгоду для другого в ущерб своей законной первой позиции... Словом, работа для души хотя и не принесла пока ни рубля, но, словно в благодарность за бескорыстие, обеспечила кругом добрых талантливых знакомых, нарождающуюся настоящую известность среди публики и несомненное признание коллег. Такой теперь стала внешняя, яркая, как расписанный гроб у древних иудеев, сторона жизни новой Эмили – и не это, разумеется, зудящее беспокоило ее. «Что я? – задавала себе Эмилия неразрешимый вопрос. – Хороший я человек или плохой? Судя по тому, как люди меня любят – должно быть, хороший. А по тому, как я сама себя знаю – так сволочь несусветная».

Эмилия считала себя, да, по-видимому, и была весьма умным человеком, поэтому не могла не осознавать, что то насилие, которое она учинила семь лет назад над своей оболочкой, не могло не отразиться на внутреннем содержании. Тогда, вначале, она болезненно ломала свое человеческое естество, сознательно сокрушая такие природные качества как застенчивость, мягкость, неуверенность. Но со временем ощутила себя словно бы и законной обладательницей прямо противоположных возможностей: застенчивость сменилась откровенной хватистостью, мягкость обернулась язвительным цинизмом, неуверенность превратилась в небывалую напористость... Обнаружилось и другое, в принципе, редкое человеческое качество: победительное обаяние, перед которым не мог устоять ни один человек. Эмилия знала, что получила его (от кого – и думать не хотелось) в ту самую переломную ночь, когда невольно заклала всех ближних, пообещав им, что если они заставят ее поступиться идеалами, то сами и останутся в дураках...

И теперь могла Эмилия с порочным удовольствием непринужденно делать болвана практически из любого себе подобного, и даже имела у себя небольшой набор беспрюирышных приемов, применить которые надо еще решиться, зато, решившись, оказываешься в выигрыше навсегда.

Любой знает, например, как тяжело признаться другому в серьезной вине перед ним, как невозможно приступить к такому скользкому разговору... Эмилия в таких случаях сначала бросала глубокий скорбный взгляд прямо в глаза жертвы, потом быстро отводила его и трепетно выговаривала: «Я так виновата перед вами! Даже не знаю, как вам и

сказать!» – и весь ее вид вопиал о таком искреннем раскаянье, что человек сразу напрочь забывал о собственном ущербе и бросался утешать несчастную, вовсе не подозревая о том, что она в те минуты холодно думает: «Конечно, голубчик, куда б ты делся...». Большинство людей приходят в совершенное смятение и выглядят исключительно жалко, когда их хвалят за успехи – но кому же это не нравится, кто не желал бы продлить волшебные мгновения! А получать необязательные подарки, отрываемые от чужого сердца, которые сама совесть велит немедленно отвергнуть! «Я так смущена! Зачем вы! Вам же самому...» – трогательно восклицала Эмилия – и после такого признания оставалось лишь спокойно слушать дальше усиливающиеся комплименты или положить в карман подарок и уйти...

В Эмилии пробилась еще одна деликатная способность: никогда не обучавшись психологии систематически, она, тем не менее, безошибочно чувствовала смутные порывы людских душ – и, нимало не волнуясь, мгновенно озвучивала их, глядя в глаза собеседнику... Вообще, смотреть в глаза, поняла она, – это целая наука: тут, если переборщить, легко нажать себе смертельного врага, желающего плюнуть на твою могилу, – и интуитивно пользовалась этим в самую меру, не забывая позволить и другому заглянуть в свои глаза, где всегда успевала вовремя выставить соответствующий заслон... Она вычислила, что небрежное словцо, оброненное в подходящую минутку, способно обеспечить хорошее к ней отношение на долгие годы вперед... И самым важным из всего благоприобретенного оказалось то, что Эмилия ни на йоту не играла, не притворялась, не имитировала: все вытекало у нее от избытка многогранного и чуткого сердца, и оттого воспринималось людьми гармонично, заставляя теплеть их собственные сердца. Но, видя свою почти крепостническую власть над посторонними и, по сути, не нужными ей душами, Эмилия не могла эти души не презирать за то, что они так легко покупаются. И чем больше она делала человекам осязаемого добра – в виде ли крупной услуги, вовремя ли брошенной фразы, стоимость которой не переоценишь, или просто красноречиво безмолвного участия – тем больше укреплялось в ней чувство брезгливого превосходства над туповатым человекообразным стадом.

Единственная порода людей, неподвластных обаянию Эмилии, состояла из полоумных фанатиков чего-либо. Но с такими людьми она и сама предпочитала, по возможности, не общаться, надежно прячась от их почему-то всегда очень маленьких глаз за стену изысканной корректности или просто отчужденного молчания. Умела, впрочем, Эмилия и оскорбительно нахамить какой-либо слишком надоевшей особи – но так же легко получала, при желании, прощение: искусство извиняться она тоже постигла в совершенстве.

Но при всем том оставалась Эмилия непоправимой, патологической трусихой, ей вполне знаком был темный животный ужас, от какого мутится рассудок и отнимаются ноги. Вот где была ее ахиллесова пята и, зная об этой своей слабости, Эмилия задалась целью *никогда* не раскрыть такого позора другим – и сумела прослыть смелой и даже отчаянной. Уже решив одно время, что и этот недуг успешно победила, будучи рожденной триумфатором, Эмилия однажды получила жестокое доказательство бесполезности иной борьбы.

Она выходила из метро в грязный мартовский день, когда заметила двух профессиональных кидал, более или менее тщетно пытавшихся всучить карточки с номерами спешившим, не раз по-другому облапошенным прохожим. Поймать им удалось старенького, бедного, совсем седого гражданина, и он заинтересованно начал выпытывать подробности игры у своих предполагаемых благодетелей...

Раз и навсегда положившая себе за правило не проходить мимо творимого на глазах злодейства или произвола, Эмилия внятно посоветовала старичку, когда миновала его:

– Дедушка, не вздумайте связываться. Обдерут как липку, босиком домой пойдете.

Так бы и кончилось все ничем – за руку ведь Эмилия деда не хватала: сказала, и достаточно, своя голова должна быть – если б он вдруг не бросился за ней вслед, горячо и

громко вознося благодарность за счастливое избавление от разбойников. Еле от него отделившись, Эмилия привычно свернула за ларьки – где упомянутые разбойники вмиг настигли ее и, прижав к стенке ларька, взяли в живое вонючее полукольцо. Эмилия сразу поняла, что существует еще одна категория людей, на которых ее чары не действуют – и эти люди называются быдлом.

– Ты чо, крыса? – приступил один из них, самого пугающего вида, с опасно заплывшим глазом, недочетом зубов и золотой туалетной цепью на шее. – Ты чо суешься-то, куда не просят, гнида?

– Ща кишки выпущу – и не пикнешь, – твердо пообещал второй, приземистый и сплошь волосатый.

Немыслимые слова свои он сразу же подкрепил конкретным действием, направив Эмилии прямо в живот невесть откуда взявшуюся финку. Третий молчал, лишь угрожающе сопя и нависая непробиваемой глыбой...

«Обкуранные, стало быть, без тормозов», – пронеслось у Эмили единственно ценное наблюдение в сразу опустевших мозгах. Дальше она не рассуждала и потом не могла никому сказать, что толкнуло ее на дальнейшие действия. Уперев руки в боки, она вдруг бесстрашно пошла прямо на торчащее острие – и заорала при этом абсолютно чужим, похабным, вокзальным голосом:

– Ты кого на понт берешь, ублюдок! Испугал ежа голой задницей! Думаешь, можно стариков грабить на улице?! Да я тебя, сволочь, сейчас сама на месте замочу и в асфальт закопаю!!!

Произошло маленькое бытовое чудо: финка исчезла, и один из разбойников растерянно кивнул остальным:

– Валим отсюда, она чокнутая, – и все трое неприметно размылись.

Эмилия свернула еще куда-то и привалилась спиной к кирпичной стене. Способность соображать к ней еще не вернулась, зато она очень четко ощутила, как по ногам в сапоги хлынуло нечто обжигающе горячее. Только в следующую минуту ей стало мучительно ясно, что она попросту описалась со страху...

Так что жила Эмилия в собственноручно созданном мире, свободном от каких-либо заблуждений. Но если сама жизнь была или казалась вполне сносной, то внутренний строй души стал не тяжелей, а как-то мутней и страшней, чем даже в те давние дни, когда она поняла, что подстрелена и падает...

Ходила Эмилия и в церковь, приученная к этому еще первым супругом, оказавшимся впоследствии прелюбодеем. Долго мыкалась по соборам с важными недоступными священниками, где регулярно получала случаи убедиться в их невежестве. Всегда, сложив умильно руки на груди, она приступала к Чаше не с последней покаянной молитвой, а с навязчивой мыслью о том – не станет ли сейчас объектом любопытства для всей очереди, когда батюшка, услышав имя, начнет допрашивать: «Крещеная? Исповедовались? Почему такое имя?». Один даже велел ей дожидаться конца очереди, унес Чашу в алтарь, метнулся куда-то внутрь справляться по святам и, лишь убедившись, что перед ним не дремучая лгунья, вынес Чашу обратно и причастил Эмилию. А она к тому времени уже тряслась и сжимала зубы от гнева и презрения – хоть опять исповедоваться беги!

Но около трех лет назад, когда после такой же противной неувязки Эмилия выходила из очередной церкви, изо всех сил пытаясь утвердить и сохранить душевный мир, к ней неожиданно пристроилась сбоку давно знакомая женщина-иконописица.

– Со святым вас причастием, Эмилия!

Дружелюбное выражение осело на лицо Эмилиии само собой:

– Спаси, Господи. И вас также.

Эта женщина – не приятельница, не даже хорошая знакомая – просто мелькала иногда на Эмилииином жизненном пути. Но привычка к псевдо доверительному общению с мало-мальски знакомыми симпатичными людьми срабатывала помимо желания: в худшем случае можно было только оставить о себе приятное впечатление, а в лучшем –

приобрести те или иные ощутимые блага, не говоря уже о всех многочисленных промежуточных вариантах.

– Что-то, смотрю, вы все никак к одной церкви не прибьетесь: то здесь вас встречаю, то на другом конце города, – завязала иконописица принужденный разговор: наверное, сразу пройти мимо показалось не очень удобным.

– А вы? – доброжелательно-интимно улыбнулась Эмилия. – Сами-то! Раз меня в разных местах видите, значит, тоже не в одну церковь ходите.

– Здесь, в Питере, – да. Здесь, собственно, мне безразлично, куда. Как душа запросится. А духовник мой в Псковской области, в деревне.

– Ну да! К деревенскому батюшке ездите?! – удивилась от души Эмилия, окидывая взглядом вызывающе интеллигентскую одежду собеседницы.

Та рассмеялась:

– Это он по своей воле деревенским стал! Поспокойней и от начальства подальше. А до этого – пятнадцать лет проактерствовал. И матушка его, говорят, бывшая балерина.

– Да ну! – пуще изумилась Эмилия. – И что, хороший батюшка?

Тут уже иконописица окинула ее с ног до головы насмешливо-проницательным взглядом:

– Вам как раз понравится.

Привыкшая сама прозирать насквозь людей, Эмилия несколько смутилась перед этой женщиной, посмеяшей с лету дерзко ухватить в ней что-то сокрытое:

– Откуда вы знаете? – с невольным вызовом спросила она.

– Я могу и ошибаться, – несколько бесцеремонно подхватила ее под руку художница.

– Но только мне так кажется. Он, понимаете, именно нашу братию с большой охотой окормляет.

– Вашу? – уточнила Эмилия.

– Всякую. Там у него, с позволения сказать, нечто вроде богемной тусовки. Поэтов тоже полно. Художники, артисты, музыканты... По праздникам у него такой клирос собирается, что никакой Мариинки не надо. Не бойтесь, в своей кампании окажетесь.

– Прямо Нектарий Оптинский! – воскликнула полностью заинтригованная Эмилия, подумав о легендарном отце, чья память до сих пор особенно почитается верующими людьми искусства. – Давно, честно говоря, мечтала с таким познакомиться! Вы не могли бы...

– С моим удовольствием! – слабо усмехнулась женщина. – Недельки так через две к нему собираюсь. Телефончик оставите – и вас захвачу. Я на машине, так что милости прошу: со всеми удобствами...

И ровно через две недели – в отдаленной деревеньке под Псковом, затерявшейся среди заброшенных, бурьяном поросших полей, в неказистом с виду и крепком внутри пятистенном домике, утонувшем по окнам в ярких цветах, Эмилия познакомилась со своим духовником о. Вячеславом и его жизнерадостными духовными чадами.

Иконописица не обманула: священник с первого взгляда пришелся по сердцу Эмилии. Еще далеко не старший, но, несомненно, вошедший в возраст созерцательной мудрости, о. Вячеслав и правда посвятил свою жизнь воцерковлению самого непробиваемого пласта человеческого общества – творческой интеллигенции. И судя по тому, сколько чад, невзирая на расстояния, то и дело сменяли друг друга у него под крылом в соседнем заброшенном доме, тяжелая эта работа успешно спорилась у о. Вячеслава.

Осанка и повадка его матушки не оставляли сомнений: так по-королевски выступать, навеки привычно ставя врозь носки и безупречно прямо неся тонкий и твердый стан, могла только балерина, проведшая сотни и сотни изнурительных часов у станка. Во всем же остальном это была приветливая простая женщина, чей микроскопический ум с лихвой возмещался гигантским, не ведающим сомнений в любви сердцем. На сад и огород она искренне не обращала никакого внимания, пестуя только цветы прямо у дома, скотины не

держала, откровенно признаваясь, что падает в обморок от вида навоза, проводила круглые сутки за чтением, иногда разнообразя его долгими, немножко беспорядочными молитвословиями. Такой образ жизни матушки, казалось, обрекал семью на голодную смерть, но – дивны дела Господни! – в доме не переводились не только необходимые продукты, но даже деликатесы, а прогнившие деревянные стены церкви понемногу одевались в надежный красный кирпич.

Приехавших в субботу о. Вячеслав обстоятельно исповедовал после вечерни, снисходительно закрывая глаза на то, что они усердно читают правило, прямо стоя в очереди, а потом в приказном порядке отправлял их, чаще всего к тому времени уже валившихся с ног, почивать в свою подручную импровизированную гостиницу. Трогательным показалось Эмилии и то, что, будучи уверенным, что люди искусства – непременно полуночники и, насильственно поднятые к ранней, неминуемо всю Литургию прокачают и прозевают, он во время больших съездов велел звонить не раньше одиннадцати. Особо рьяные удивлялись, зачем батюшка потакает слабостям чужой плоти, он потаенно усмехался и отвечал:

– Плоть всегда немощна, а дух не всегда бодр. Что толку, если они, в церкви стоя, проспят до Херувимской? Сами знаете, какая тут публика чаще всего... деликатная. Так уж пусть лучше они у нас в одиннадцать молятся, чем в семь сны наяву смотрят. И он был прав: относительно выспавшись и наскоро умывшись обжигающе ледяной водой из батюшкиного редкой чистоты колодца, молились легко и светло, и на Литургии нельзя было увидеть ни одного не то что хмурого, а и просто нерадостного лица – все как на подбор стояли в приподнятом настроении духа и едва ли не в умилении. Потом обедали всем обществом в доме священника и, как утверждали «по молитвам нашего батька» ни один человек не испытывал ни малейшей неприязни к соседу, не затевал обычной в богемной среде вежливой словесной перепалки, а все шли в дом бок о бок с блаженно счастливыми лицами, пребывая в полной уверенности, что кругом нежные сестры и отважные братья...

Эмилия, хотя и новенькая, сразу прониклась всеобщим добродушием, разлитым в воздухе, и, зная за собой определенное жестосердие, отдыхала своей, наконец, расслабившейся и хорошо отскобленной от наиболее вопиющих грехов душой. Вчерашняя исповедь ей понравилась, но показалась недостаточной. Она принадлежала к той редкой категории людей, занятых постоянным самокопанием, которые настолько жестоко критикуют себя сами, наедине с собой, что считают излишней роскошью и едва ли не издевательством позволять это делать другим. Поэтому на исповеди она с мазохистским удовольствием чехвостила себя почем зря, втихомолку радуясь, что смертные грехи юности уже успела спихнуть равнодушным столичным священникам, и о. Вячеславу, растерявшемуся от такого самобичевания исповедницы, осталось только утешать ее. Лишь отойдя от аналоя, Эмилия догадалась: да ведь она бессознательно перекрыла священнику возможность выбрать себя, сказав все за него – да так, как он вряд ли и осмелился бы! Так человек, поранивший или прищемивший палец, иногда не подпускает никого для оказания помощи и вопит «Я сам!», потому что, как выясняется, легче самому себе причинить даже большую боль неумелой рукой, чем принять боль меньшую, но из чужих рук.

Побеседовать с о. Вячеславом в неформальной обстановке очень хотелось, но Эмилия считалась новенькой, и пробиться через мощный кордон окруживших его верных чад казалось трудненько.

«Хоть бы сам догадался!» – немного раздражаясь, мысленно подгоняла она священника. И то ли удалось ей невольно загипнотизировать его, то ли сам он имел обычай беседовать отдельно с каждым новоприбывшим, – но после непринужденного обеда и немудрящего общего разговора о. Вячеслав сам пригласил Эмилию выйти с ним на крыльцо. Она уже внутренне тяжело маялась, не имев возможности покурить более суток, и настроение падало с каждой минутой.

– Нравятся наши места? Через месяц если приедете – можете подольше остаться и за грибами сходить: матушка у нас по этому делу большой специалист. Набьетесь к ней в попутчицы – она и места показать может, – неторопливо заговорил батюшка, когда они остановились на крыльце.

«Нет, он все-таки старенький, очень старенький, – определила Эмилия, присмотревшись поближе. – Волосы совсем седые и борода тоже. И голос какой-то надтреснутый».

– Не нравятся, – честно ответила она в полном согласии со своим настроением. – Какая там природа, когда – мерзость запустения. И грибы собирать я не люблю и не умею. Да и что потом с ними делать?

– Значит, не приедете больше к нам? – миролюбиво спросил он.

– К вам – приеду, – решив придерживаться прямодушия и далее, отозвалась Эмилия.

– Вот и хорошо! – вроде как с облегчением выдохнул о.Вячеслав. – Я-то уж, грешным делом, подумал, приехали раз и – пропадете. Бывает так и – часто.

– А вы, батюшка, простите, такой... контингент... специально подбираете, что ли? – полюбопытствовала Эмилия; ее это, правда, очень интересовало.

Священник тихо засмеялся:

– Подбираю?! Помилуйте! Вы сами так как-то подбираетесь. Может, по принципу рыбака рыбака...

– Да, знаю, вы актером были. А почему так повернуло вас – можно узнать? Но если это тайна, не отвечайте. Только ни за что не поверю, что все оттого, что актеров, как самоубийц, раньше даже в освященной земле не хоронили.

– И сейчас бы не следовало, – вдруг помрачнев, сурово ответил о.Вячеслав. Эмилия удивилась:

– Так вы же их сами привечаете. Артистов чуть ли не половина из ваших сегодняшних. И кажется, никому этим ремеслом заниматься не запрещаете.

– Запрещать?! – изумился он. – Да разве в наше время кому-нибудь запретить можно?! Вот вы, например. Скажи я вам: с завтрашнего дня стихов не пишете или хотя бы не публикуйте. Ну-ка, ответьте мне, если вы такая честная, прямо: что б вы сделали?

– Кхм... Честно? Пожалуйста: искала бы другого батюшку, – напрямик выложила Эмилия и, раз уж разговор свернул на совсем прямые рельсы, задала провокационный вопрос: – И вы тогда – честно: по-вашему, мне не надо писать?

– Не надо, – спокойно ответил он.

– Как вы можете так сразу?! – возмутилась она. – Вы же книжек моих и не раскрывали еще!

– Вы мне вчера исповедовались.

– Но про стихи-то подробно не рассказывала! Упомянула только!

– Вы мне про сердце свое рассказывали. А уста от избытка сердца глаголят, сами знаете. И вот уж раз начали мы с вами такой разговор, то я вам – простите Христа ради! – так скажу: из такого сердца как ваше ничего хорошего выйти пока не может.

Это самое сердце сразу заколотилось у Эмилии так быстро, что она начала задыхаться. «Действительно не приеду больше... Ну его на фиг... Людей оскорбляет только так...» – пронеслось в мыслях.

– То есть... Вы хотите сказать... Что я... настолько дурной человек... настолько испорченный... Что своими стихами могу повредить людям? – изо всех сил стараясь сохранить спокойствие, но слыша, что голос помимо воли звучит жестко, спросила Эмилия.

О.Вячеслав смотрел на нее вовсе не сурово, но с грустным сожалением – и это было еще хуже. Такие взгляды всегда пугали Эмилию, когда она редко, но все же ловила их на себе. Он проговорил задумчиво:

– Спаси Господи, что не обиделись. А то ведь вы все народ горячий. Нет, я не думаю, что вы дурной человек или злой. А испорченный... Да все мы испорчены, повреждены то есть. Сами знаете.

– Ага, поэтому стихов никому не писать, – язвительно кинула Эмилия. Священник будто не заметил ее ехидных слов:

– Вы человек – отравленный. Тем самым сладким ядом отравленный. Хуже нет того яда. И других травите, вот что страшно. Совершенно неважно, насколько хороши ваши стихи сами по себе. И насколько правильны в них слова. Важно, из какого сердца вышли слова эти. Ведь если человек, допустим, бегаёт по знакомым и везде кричит «Я Христа люблю! Я Христа люблю!», а сам Его на деле не любит, то никого он к любви этой не расположит. Так и вы. Ничего не удастся вам сделать для людей, я имею в виду, ничего истинно доброго, если вы их презираете... Но тут вы не одна, это заблуждение всей вашей... нашей... братии.

– Подождите, подождите! – невежливо перебила Эмилия, схватившись руками за виски. Что-то начинало мерцать у нее в уме, и она силилась уловить этот слабый свет, сфокусировать на нем свой внутренний взор. – Я начинаю что-то... Только не совсем... Как вы сказали – сладкий яд?

– Неужели понимаете? – подозрительно спросил батюшка. – Вот так сразу? Редкий случай.

– Вы имеете в виду, что... – и с этого момента Эмилия чуть не впервые в жизни перестала подбирать слова, торопясь высказать как попало неоформившиеся, но казавшиеся важными мысли. – Что все мы одним грешим. Таким сознанием своего якобы... избранничества? То есть, ведь почти все – артисты, не знаю, не моя среда – а писатели, музыканты и художники – точно... Почти все полагают, что имеют прямой, так сказать, контакт, без посредников, с... с Богом. Некоторые так и говорить дерзают: я, мол, не нуждаюсь ни в каких там церквях-попах... Извините. Я, мол, прямым черпаю... А того не знают, что избранничество это мнимое. Что прямым черпать можно только от... из... Ну, вы понимаете. Именно из-за поврежденности. И вы считаете, что я – тоже. Так думаю. Но я так не думаю, я вообще об этом так – не думала. Только вы правы, конечно, я стихов писать не перестану. И печатать тоже... Потому что...

– Потому что легче законченного убийцу-вора-блудника отвадить от его греха, чем творческую личность от творчества, – закончил о. Вячеслав, но, поколебавшись и повздыхав, добавил: – Опять же, осторожным быть приходится: Дух дышит, где хочет, как помните. Наляжешь на кого-нибудь по своему грешному неразумию, а тут тебе и раз – хула на Святого Духа.

– Потому и не отваживаете? – улынулась Эмилия.

– Надобности нет: кто творец по Божьему произволению, тот им и останется, ничем не вытравишь, намучаешь только человека зря. А кто – нет, на того Господь управу найдет так или иначе. Что толку в запрещениях? Не снесет человек да и уйдет. Хорошо, если только от меня, а если вообще из церкви вон? Так что пишите стихи, конечно. Пишите, хотя и не надо писать. Только так, чтобы ни единая ваша строка – да что там строка! – чтобы помыслы ваши не отклонялись от Евангелия – да что там помыслы! – так, чтоб само сердце билось с ним в лад.

– А! – вдруг озарило Эмилию. – Знаю, что многие вам на это отвечают или, по крайней мере, думают. Они думают: тогда стихи вообще не напишутся. Или там картина, или симфония...

– Что-то странно много вы знаете, – заметил батюшка. – Знаете, конечно, что и ответу: зачем нужна такая книга, или картина, или симфония, если она не дышит в одно дыхание с Евангелием?

– А актерам вы что говорите? Раз уж не велите менять специальность, – поинтересовалась Эмилия. – Они как-то особняком стоят. У них там Станиславский, вживание в образ, страшное дело, в сущности.

– А я им говорю: играешь злодея – так покажи, как плохо им быть. Не вообще плохо – ая-яй, дескать – а как для самого человека ужасно быть негодяем. А хорошего играй так, чтобы он ни в коем случае не казался смешным – это самое главное теперь: добро стало такой редкостью, что автоматически вызывает смех. Или жалость.

– Хороший человек, собственно, всегда трагическая фигура, – вырвалась у Эмили странная фраза.

– Вам на прозу пора переходить, – усмехнулся о.Вячеслав. – То-то трагических фигур понастряпаете! – он произнес это настолько серьезно, что Эмилия не решилась улыбнуться: загадочный батюшка, нечего сказать.

Она вспомнила:

– А ведь вы мне не ответили. Или специально не захотели? Как сами-то скачок из артистов в священники сделали?

– Богородица привела, – наивно ответил батюшка.

– Как – Сама? – уже ничему не удивляясь, для порядка спросила Эмилия.

– И очень просто. Сорвалась у нас как-то репетиция. А мы на сцене Консерватории тогда работали. Час времени свободного появился. Ну, думаю, что в буфете торчать – у меня тогда напряженные отношения в труппе сложились – пойду, прогуляюсь. И прогулялся двести метров – как раз до Николы Морского. Походил, посмотрел, интересно. Вижу, икона какая-то необычная, с тремя руками. Мать Божия. Подошел поближе посмотреть. Тут меня и жажнуло. Сам не знаю что. Стою, не отрываясь, в глаза Ей смотрю. И ноги не идут. Через некоторое время ощущения какие-то странные появились. Я лицо свое потрогал – мать честная! – оно слезами залито. И все текут слезы-то! Я было испугался: срам ведь какой, мужик здоровый ревет! Но ничего поделать с собой не могу, слезами обливаюсь, аж трясусь весь и все на Нее гляжу... Наконец, уйти смог. Выхожу на улицу и чуть на месте не падаю: темень на дворе, поздний вечер, а когда зашел – часа два было, не больше... Ну, дела, думаю. И с тех пор, как рядом оказывался – всегда к Ней заходил. Не молился, ничего подобного, я и слово-то такое тогда только в пьесах старых встречал. Стоял и смотрел. Казалось, помню, что лицо у Нее живое, прямо дышит. Дышит и плачет, дышит и плачет... И с сердцем у меня невообразимое что-то делалось – будто рвалось на части. Наконец, я священника увидел и его спросить додумался – что это такое странное со мной у иконы творится. А он отвечает – так просто, я даже удивился: Богородица к тебе в душу заглянула. Так всегда, чадо, бывает, когда Она кому в душу заглядывает... Ну и пошло потихоньку... И ведь знаете, что самое главное? Я тогда и друзей своих туда, к иконе той, приводил, и даже теперь, когда кто из Питера приезжает, спрашиваю: видел ли Троеручицу в Никольском, как она тебе? И, представьте, все в один голос: да, хорошая икона, красивая. Оклад интересный. Ну а еще что-нибудь, особенное, спрашиваю. А они: икона как икона, икона и есть икона... Выходит, Она мне лично это сделала, а?

...С того времени Эмилия стала ездить к о.Вячеславу раз в пост – обязательно, а случалось, и чаще навевалась. И хорошо ей там было, и причащалась без смуты душевной, как в Питере, – а лишь оказывалась в обратном автобусе – и вновь приступало прежнее о себе недоумение и росла, росла ее саму пугавшая жесточенность. Этой весной Эмилия дошла, казалось, до предела внутренних терзаний – и даже Пасха, встреченная, как обычно, у батюшки в деревне, не принесла умиротворения в душу. А принесла встреча на Фоминой со скромной школьной учителькой из породы тех, кого Эмилия раньше обходила с недоумением и некоторой боязнью. Она не считала их, по примеру многих, несколько сдвинутыми, а просто знала как словесник и верующий человек, что выражение «не от мира сего», почти всегда к таким применяемое, означает настоящую причастность к миру иному, а, замеченная у кого-то, она не может не вызвать чувства стеснения и ощущения своей какой-то излишней приземленности. Многие люди неустанно искали общества Эмили, дополнительно обеспечивая ей уютную уверенность в своей ценности и необходимости, но ни с кем не выходило у нее

доверительной взаимной привязанности. Она привыкла к этому самодостаточному одиночеству и даже со временем перестала особенно тяготиться им. Знала, если вдруг подступит нестерпимое чувство пустоты, то достаточно лишь снять телефонную трубку и не навязаться кому-нибудь, упаси Господи! – а сразу же получить радушное и почти требовательное приглашение в гости, на выставку, рыбалку, пикник, шашлык... И она добросовестно веселилась на всяких человеческих развлекательных мероприятиях, блистая своими по-настоящему глубокими знаниями, природным гибким и острым умом...

А с этой весны сама начала искать общества тихой учительницы литературы. Эмилия специально перенесла занятия своей студии с четверга на вторник, чтоб иметь возможность еженедельно встречать Марию Ивановну, случалось, и караулила ее у учительского гардероба, всякий раз убедительно изображая при этом случайное столкновение. Обе взяли привычку по вторникам прогуливаться до метро пешком, ведя при этом неспешную, бесхитростную, ни к чему не обязывающую беседу – Маша действительно хорошо знала литературу, и не только знала, но всерьез любила, так что тему для разговора не приходилось насильственно подыскивать. Идя в школу, Эмилия нарочно одевалась скромней, чем обычно, снимала бриллиантики, боясь, как бы Маша не начала себя чувствовать перед ней на манер курочки Рябы перед Жар-птицей и не отдалилась бы из-за этого. Иногда они долго не могли расстаться на переходе в метро, и без конца прощались, но все длили и длили разговор. В такие дни Эмилия возвращалась домой немного другим человеком: сама того не замечая, она становилась ласковой к мужу, испытывала нехарактерную для нее потребность приготовить что-нибудь вкусненькое и посидеть с ним вдвоем не над дежурной бутылкой вина и даже не с традиционной чашкой кофе, а попить неторопливо из стакана простого, почти вышедшего у них из употребления чаю с лимоном. Ей хотелось не горячо спорить о глобальных проблемах бытия, а по-домашнему обсудить самые обыденные, неприметные глазу вещи и события: о том, что у соседней собака снова принесла щенков, что надо бы купить новое бра в спальню – такое обязательно голубое и в виде колокольчика, и что хорошо бы сейчас выпить парного молока с черным хлебом, посыпанным крупной солью... Привыкшая всегда доискиваться до первопричин, Эмилия, конечно, знала, что все эти новые ощущения навеяны Машиным тихим образом, и сердце ее благодарно сжималось, когда среди дня она внезапно понимала в очередной раз, что между ней и Машей исподволь крепнет простая и чистая человеческая дружба. Обе они были одиноки – разным, но непоправимым одиночеством, и если Маша тянулась к Эмили как к некоему непостижимому существу, зачем-то спустившемуся из высших сфер и оттого растерянному и грустящему на земле, то Эмилия льнула к Маше за очищением. Перед ней была словно яркая иллюстрация ее самой, только не взбунтовавшейся тогда, семь лет назад и не попершей поперек рожна, но покорно пошедшей по прямой, указанной свыше дороге. Хотела бы она обратно стать такой, как Маша? Нет, ни за что: слишком многое из благоприобретенного пришлось бы вернуть назад, да и просто физически Машин жизнь была во сто крат тяжелее. Она ежедневно вставала в семь часов, не делая исключения даже для воскресений, ибо шла в церковь, в то время как Эмилия могла шутивно-строго выбранный по телефону недотепу, посмеявшегося побеспокоить ее около одиннадцати: «С какой это, интересно, стати, вы будите меня в середине ночи?» – и больше обруганный раньше двух звонить не решался... Маша наскоро питалась чем попало, собственно, даже не питалась, а нездорово перекусывала скверной дешевой пищей, а Эмилия могла подолгу любовно подбирать для себя в магазине именно сегодня возжелавшийся сорт зеленого сыра... Она себя беспрестанно казнила за это, но оставить укоренившиеся вредные привычки не могла и не пыталась, утешаясь тем, что каждому – свое: она ведь тоже и молится, и постится, и регулярно вычитывает Псалтирь – но не стрижься ж всем христианам под одну гребенку! Она ведь и на канун подает, и нищими не брезгует... Не станешь же из сострадания к безногому рубить себе ноги! И если Маша бедная, почему

бедствовать ей? И все-таки Эмилии было смутно совестно за свое благополучие, получаемое таким необременительным и, может быть, не очень правомерным способом. Она удивлялась, что постоянно вспоминает Машу и даже вроде как меряет по ней свою жизнь, то и дело ловя себя на мысли: «Маша бы это не одобрила!», приходившей, кстати, гораздо чаще, чем «Маше бы это понравилось». Окончательно сразила Эмилию Маша реакция на ее рассказ об о. Вячеславе и его чудном обращении.

– Троеручица?! – ахнула тогда Маша. – Как ты только начала про Никольский, так я сразу и поняла, что про нее речь! Другой такой иконы я не видела, чтоб так перед ней умиляться...

Это послужило для Эмилии своего рода тайным знаком правильности выбранного окольного пути, словно протянув между двумя важными в ее жизни людьми прочную ниточку, где они были двумя узелками по краям, а она посередине – третьим и самым маленьким...

...Поэтому вот уже раз, наверное, в третий или четвертый, этим больным от жары и похмелья утром, мыкаясь по кухне в тщетных попытках прибраться после вчерашнего, Эмилия задавала себе навязчивый вопрос: как вчера пытался Олег навредить Маше, и могло ли у него из этого выйти что-то путное? Куда ни кинь – получалось, что он ничего не сумел бы ей сделать, но глубоко въевшаяся тревога не отпускала: в Москву звонил, с телефоном заперся, сумку с записной книжкой утащил, а перед этим на Машу пеной брызгал. Неспроста... А ведь проспится – небось, и не вспомнит, что вообще делал...

Как раз в это время по коридору неуверенно зашмякали босые ноги и донесли с горем пополам до кухни своего господина. Теперь он стоял на пороге, бледный до зеленоватости, тревожно вращая едва ли не полностью слепыми без кокетливого пенсне глазами...

– Пить, – сипло простонал недугующий. – Пить, умоляю.

– Кран налево, – ледяным тоном сообщила супруга.

Эмилия уже успела умыться, приколоть шиньон и придать лицу свежий и невинный, как яблочко, вид, который должен был продемонстрировать мужу, что она в полном порядке, без всяких последствий, а значит, и вчера была вполне трезва и здорова. Из этого Олег, поглядевшись в зеркало, сделает вывод, что безобразно надрался, хулиганил и буянил вчера он один, и его супруга Эммочка с полным правом брезгливо смотрит на него, как на вылезшего из подвала на свет Божий всю ночь лакавшего одеколон бомжа – с тихим презрением и укоризной. Он даже вполне был согласен на то, чтобы загладить свою постыдную вину перед ней трудотерапией, а именно единоличной приборкой оскверненного дома, а также поиском и мытьем посуды, кучами сваленной в самых неожиданных местах.

– Олег! – требовательно произнесла Эмилия. – Отвечай моментально: кому ты вчера звонил в Москву?

– В Москву? – озадачился так и стоявший перед ней совершенно голый Черт. – А на хрена я это делал?

– Опять, что ли, не помнишь?! – драматически возопила Эмилия. – Это как же пить надо!

– О-ой, отстань, у меня голова сейчас взорвется! – взмолился муж.

Он уныло пошлепал в ванную, где тотчас же ослами взревели трубы. После возвращения произошла многократно до мельчайших подробностей пройденная супружеская сцена с праведным возмущением жены и глубоким искренним раскаяньем мужа-пропойцы, с клятвами «никогда больше» и обещаниями ценных подарков. Из своих вчерашних возмутительных высказываний и поступков большой поэт Олег Пороховщиков не помнил ровно ничего. Упав в кресло по-прежнему нагишом и аккуратно выложив длинные ноги на колесный сервировочный столик, он размеренно стонал:

– Пива... Полцарства за банку пива... – но никто не торопился поднести ему сей целебный напиток, потому что никакого царства, от которого можно было бы на халяву оттяпать половину, у него отродясь не водилось.

– Сырой водой обойдешься, – презрительно пожала плечом его добродетельная супруга, выплывая из комнаты в своем стилизованном под кимоно халате.

– Требую продолжения банкета! – вслед ей скорбно призывал Олег, и его желание поспешило незамедлительно исполниться, ибо зазвонил телефон.

Трубку подняла Эмилия: у ее мужа движения еще не настолько скоординировались.

– Проспались, черти зеленые? – весело спросила трубка, в то время как Эмилия пыталась наскоро отождествить с кем-нибудь этот нахальный женский голос. – Продрыхлись, бледные спирохеты?

– Мне не отчего было, – отрезала Эмилия. – А супруг пива хочет.

– Так это мы запросто! – возликовали на проводе, и Эмилия сумела раскусить инкогнито абонента: Оля Борисова, искусствовед и эссеист. – Программа такая: как жара спадет, часиков так к восьми, все подгребаем под тент. Шашлыки, – (Эмилия вздрогнула от отвращения), – и пиво, – (она почти плотоядно улыбнулась), – гарантированы. Вчера ваш праздничек был, а сегодня – наш, правда, не такой кругленький: девять с половиной месяцев.

– Хорошо, что не недель, – съязвила Эмилия.

– Так был бы повод, – простодушно призналась Оля. – Что, ждать вас?

– Жди-жди, ждать не догонять, – неопределенно ответила еще не решившая вполне Эмилия.

Она положила трубку и обернулась к Олегу, с выжидательной готовностью ловившему ее взгляд. Прищурив глаза, она сложила пальцы правой руки в щепоть и высоко подняла ее, словно заставляя служить собаку:

– На-на-на, Черт! На-на-на! Пиво, Черт! Пиво!

Приняв сомнительную игру, Олег живехонько бухнулся на четвереньки и шустро застучал по ковру ладонями и острыми коленками:

– Гав! Гав! Гав! – он был еще невозможно пьян.

...Открытое кафе без названия в центре города считалось после кончины "Сайгона" неофициальным местом тусовки не золотой, но уж обязательно серебряной богемы в теплое время года. На случайно забредших чужаков демонстративно не обращали внимания даже вполне освоившиеся официанты. Крепких напитков не подавали, потому что и на одном пиве не всякий день избегали театральных выяснений отношений, зато жарили нежнейший свиной шашлык, обсчитывали не до беспредела и прислуживали с легкой интимной наглостью по образцу почти век как канувших в Лету хитроватых половых.

Появление пышной Эмили под руку с успевшим опохмелиться по дороге и оттого вполне устойчивым любимцем публики Олегом Пороховщиковым встретили восторженным приветственным ревом и сразу загрохотали стульями, освобождая вечной королеве бала подобающее место.

Своим чередом пошло привычное веселие, постепенно разгоняясь и захватывая по пути новоприбывших, и необычайно вкусным показался румянобокий шашлык, и приятно холодило грудь щедро наливаемое золотое пенистое пиво, разговор шел легкий и безобидный, не заставлявший настораживаться и напрягаться – и все больше грустила Эмилия. Грустила так заметно, что некоторые стали обращать внимание и осведомляться о здоровье и благополучии.

Эмилия понимала, что после вчерашнего собственного праздника следовало бы лежать в прохладной комнате и лечиться солевой минеральной водичкой, но при мысли об этом такая сосущая тьма восставала в сердце, что она вздрагивала и начинала пить пиво большими глотками. Ненадолго отпустив, тоска накатывала вновь. «Что я тут делаю?»

Что мне до всех этих людей? – маялась Эмилия. – Я ведь меньше всего хочу их видеть – и сейчас, и вообще... Но с кем же иначе я была бы? Может, с Машей? С одной Машей? Но не всегда же только с ней! Может, нужен совсем иной круг друзей? А какого именно круга мне хотелось бы? Церковных женщин и их благообразных мужей? Боже упаси – о них даже подумать страшно... Что же тогда? Выходит, мне ничего не осталось? Получается – одна? Всегда и везде – одна?! Ничего себе, веселье...» – и, зажмурив глаза, она опять и опять припадала к спасительной кружке.

Но Эмилия вовсе не отсутствовала. Она всякий раз удачно реагировала на чужие реплики, четко цепляла боковым зрением своего мужа – кому, как не ей на себе его домой тащить, если вдруг что – и поэтому прекрасно заметила, что на столе появилась бутылка водки со стороны, и наиболее отважные любители уже всю заняты приготовлением «ерша». «Так я и знала, зараза, – разозлилась Эмилия: перспектива возвращения домой предстала перед ней в самых темных тонах. – Надо его отвлечь, может, без него успеют выпить».

– Олег! – капризно позвала она.

Через минуту супруг предстал перед ней, и Эмилия внутренне усмехнулась его разительной перемене по сравнению с утренним раскладным состоянием. Олег был возбужден, многоречив, эспаньолка вызывающе выставлена, пенсне еще крепко держалось на носу, пунцовый огонек как раз возник в недрах таинственного камня на его большом пальце...

– Олег, я от этого пива сейчас засну. Ты пойдешь, пожалуйста, к стойке и закажи чашку кофе покрепче. Только очень тебя прошу – проследи, как они будут варить. А то опять в цветочный горшок выливать придется, – ласково попросила его жена.

Пороховщиков беспокойно обернулся на свою кружку с вполне готовым к употреблению «ершом», но Эмилию послушаться не посмел, еще не избыв вина за свой вчерашний, описанный ею в ярких красках дебош.

– Ладно, давай кошелек. У меня одна пятисотка последняя, менять не хочу. Эмилия протянула ему свое крокодиловое портмоне, подарок благодарного автора; плебейское слово «кошелек» было, наверное, очень оскорбительно для этого нарядного произведения искусства. Муж удалился, а Эмилия, схватив кружку обычного, не испорченного пива, по-кошачьи обогнула стол и подменила Олегову кружку, унеся ее с собой на свое место: «Уже достаточно принял, может и не отличить. А мне все ж спокойнее».

К ней подседа виновница торжества со своим мужем и полезла чокаться к стоявшей на столе кружке с «ершом». Эмилия с улыбкой отхлебнула порядочно: за себя она не боялась. Как раз с дымящейся чашкой в руке пританцевал Олег и, поставив кофе перед женой, адресовался Оле и ее супругу:

– Князь Игорь и Ольга на холме сидят, – (обводя руками окружающий мирок): – Дружина пирует у берега... О, кстати, я вспомнил, зачем я в Москву звонил. Игорехе Жаботинскому я звонил.

– А зачем конспирацию навел? – усмехнулась Эмилия, не выпуская из рук опасной кружки, чтоб муженек ее ненароком не прихватил. – Зачем в ванной запирался, воду пускал?

– Зачем, зачем, о, зачем, зачем! – пропел Олег по перенятой у жены привычке. – Чтоб ты мне не мешала, зачем еще.

Он перегнулся через весь стол, выудил с противоположного конца свою, то есть изначально Эмилиину кружку и, словно воду, одним махом опрокинул в себя почти все. Его качнуло, пенсне сползло на кончик носа.

– С чего бы это я стала мешать? – насторожилась Эмилия. – Что мне за дело до твоего Жаботинского?

– До него тебе точно дела нет, а вот до психопатки этой твоей, как бишь ее, Маши-дурочки, – есть и, как ни странно, очень большое, – пояснил, допивая, супруг.

Эмилия глянула на него с зарождающимся ужасом. «А ведь и правда Черт. Безо всяких там шуток», – некстати подумала она и сразу инстинктивным движением подняла кружку с «ершом» к губам и начала быстро пить, словно это сулило помочь ей пережить следующую страшную – знала она – минуточку.

– Что... ты сделал? – еще не веря во что-то слишком непоправимое, а надеясь на глупую шутку, выдавила Эмилия.

Черт поправил пенсне и жестко произнес:

– Дураков учить надо. Вот я и проучил по-свойски.

Эмилия начала было подниматься, но коварный коктейль как раз в этот момент бросился в ноги, они подломились, и королева бала некрасиво рухнула обратно на стул. Однако ей почти сразу удалось взять себя в руки с тем, чтобы яростно кинуться на мужа:

– Да кто ты такой? Что ты берешь на себя, в конце-то концов? Что возомнил о себе, что взялся учить посторонних людей?! Как ты посмел... – и в эту секунду Черт резко толкнул ее ладонью в грудь, так что если бы спинка стула не была близко к решетчатой стенке, то Эмилия, скорей всего, полетела бы назад вверх тормашками на пол.

– А ты! Ты сама! – заорал Олег. – В каком мире живешь, забыла? Забыла, да?! Думаешь, спасаешься, что ли, всюю?! С помощью таких вот идиотов всяких, да?! Оставь эту надежду, оставь надежду, слышишь?! Ты просто мокрая курица, которая хлопает крыльями и кудахчет!! Надеешься, никто не видит, не раскусит?! Надейся-надейся! Гоняйся за сумасшедшими бабами! Пока сама не спишишь окончательно!

Ничего не видя, зная только, что ее гнусно и, главное, прилюдно оскорбили, Эмилия в помрачении рассудка бросилась на Олега. Она намеревалась для начала залепить ему впечатляющую кинематографичную пощечину, но он ловко отдернулся и получил по носу, с которого, на миг отразив солнечный свет, слетело пенсне и хлынула широкая струя яркой крови.

Народ бросился разнимать сцепившихся, но оба они, озверев, рвались друг к другу: Эмилия – надать еще раз, Олег – хотя бы успеть отвесить мстительную затрещину. Кое-кто с любопытством наблюдал супружескую сцену образцовой пары, жалея, что ее быстро прекратят, и не удастся досмотреть представление до конца. Залитого кровью Черта усадили и принялись обихаживать. Его запал сгорел, и теперь он пьяно хныкал:

– За что она на тебя так? Прямо тигрица! – допытывался кто-то. – Что ты ей сделал?

– Да ничего я ей не сделал! – всхлипывал Олег. – Просто пошутил вчера по пьяному делу. Чуваку знакомому в Москву позвонил и попросил отбить сюда телеграмму одной бабе шизанутой... У него там телеграф круглосуточный... прямо напротив... Ну, я и продиктовал – мол, черкни ей что-то вроде прибываю-де во вторник, люблю, мол, целую, Игорь... С оплаченным ответом до востребования... Ее лоха тоже как раз Игорем зовут – потому и пришло в голову... Да чего я сделал-то такого?! Пусть девка хоть сутки порадует... Чего ты взбесилась, Эмма?! Таких тут делов из-за мыши какой-то церковной наворотила... Опомнись! – жалобно канючил он.

– Господи!!! – не своим голосом взвела Эмилия, обхватив голову руками. – Да за какой же сволочью я замужем!!! Ах ты, подонок, подонок... – зарыдала она и, минуточку в полной тишине постояв и покачавшись, растолкала друзей-соратников.

Продолжая истерически всхлипывать, она выскочила из кафе, не забыв, однако, прихватить свой любимый бархатный плащ и длинную блестящую сумочку.

...Эмилия мчалась по улице бегом на своих каблуках-гвоздиках, интуитивно избегая столкновений с людьми и детскими колясками. "Мерзавец... Ах, какой мерзавец... Кого же я опять себе в мужья выбрала!" – только эта горькая мысль поначалу раздирала ей сердце, и она на ходу стирала обильные слезы ладонями.

Над Петербургом распростерла перламутровые крылья белая ночь. После тяжелого удушливого дня, как это часто бывает в болотных широтах, вдруг потянуло холодным сырым ветром, и начало неуклонно холодать... Эмилия уже порядком выдохлась из-за

своего нервического бега и снизила скорость у набережной канала Грибоедова. Только там она остановилась, пытаясь собраться с мыслями. Почувяв неожиданный холод, быстро натянула плащ, мимоходом похвалив себя за предусмотрительность. Впрочем, привычка просчитывать события хотя бы на несколько часов вперед всегда была ей присуща, что избавляло от мелких ненужных неудобств. Эмилия огляделась и смутно заметила, что вокруг идет многоголосая, с выкриками, смехом, фотовспышками молодежная гульба. «Сегодня же выпускной вечер», – между прочим зарегистрировала Эмилия. Она облокотилась на парапет, стараясь совладать с собой и на что-то решиться, но сразу поняла, что делать этого не следует: «Я опять пьяна. Причем до визга, – хладнокровно постановила она. – Все решения придется отложить до завтра».

Приобщившись к богемной среде несколько лет назад, она так или иначе приспособилась и к регулярным возлияниям – и тогда же она обнаружила в себе этот редкий дар не терять чувства ответственности, хотя бы только за себя, даже во крепком хмелю. Ни разу не случилось ей наломать дров или просто необдуманно сказать что-то, о чем пришлось бы впоследствии серьезно пожалеть, и особенно пунктуально избегала в таких случаях важных выяснений отношений, раз и навсегда решив, что тут недалеко и до взаимного членовредительства. Всякий раз включался у нее в мозгу некий громкий сигнал опасности – и срабатывал именно в тот момент, когда легко было переступить заповедную черту, причем от степени опьянения этот добрый дар не зависел.

Не подвел он Эмилию и на сей раз, поэтому она решила не возвращаться «под тент» для продолжения супружеской разборки, а добраться до дома и лечь спать, оставив грандиозный скандал на утро. «А Черта пусть кто хочет тащит. Надо же, гад какой – так опустить Машу!». «Маша... – уже тронувшаяся с места Эмилия замерла, не докончив шага. – Что он там говорил, какая телеграмма?» – и на нее с лету обрушилось страшное понимание: вторник – это именно завтра; телеграмму Маша получила сегодня утром, если тот дурак ее послал, конечно; сейчас она там, в ужасной квартире, считает, что любимый спешит к ней на белом коне; что она чувствует – легко представить, но совершенно невозможно вообразить, что сделается с ней завтра, когда никто не придет... Эмилия схватилась за сердце. «Надо что-то делать, надо что-то делать... А что же делать?! Ах, ты... Если б я не была так надравшись, я бы, конечно, знала, что делать».

– Господи, – прошептала она, подняв глаза. – Милый, хороший, добрый Господи! Ты не думай, что я настолько пьяная... Я все сделаю. Но только Ты научи меня, потому что я ничего сейчас не соображаю...

Прямо под ней по каналу Грибоедова проплывало небольшое открытое суденышко, низко осевшее под тяжестью столь же пьяной, как и Эмилия, молодежи. До нее донесся дружный регот, из которого выделился игривый девичий голосок:

– Ах, вот ты как! А я все Маше расскажу!

– Ну конечно! Я все Маше расскажу! – громко и восторженно выпалила Эмилия, сорвалась с места и помчалась к метро, изо всех сил надеясь, что оно еще не закрыто. Метро только собиралось закрываться – но вот портмоне у Эмилии в сумке не оказалось: отданное Олегу, когда он попросил на кофе, оно так и осталось у него в кармане. Эмилия судорожно обыскала свой плащ – и обнаружила сиротливый рубль. «А-а, была не была», – и она решила на то, чего никогда не применяла в трезвом уме, а вне исключительных обстоятельств не решилась бы сделать и в пьяном. Она стремительно двинулась на контролера, на ходу выхватывая из сумки внушительный писательский билет – тисненый золотом и с цветной фотографией. Им она небрежно махнула перед носом уставшей от однообразного мельтешения работницы, по-деловому миновала ее, не дав и секунды на обдумывание – и так проскочила! Рискуя кувырнуться и свернуть себе шею, неслась Эмилия на своих каблуках вниз по эскалатору (правда, потом едва не заснула в вагоне), и снова летела по переходу, успев в закрывавшиеся двери последнего поезда... Она бежала и вверх, хотя быстро обессилела, и, наконец, вырвалась из стеклянных дверей на волю, на пустынную улицу. Теперь следовало завернуть за метро и идти пешком на край города,

где кончались эффектные новостройки и на месте бывших поселков за пустырем доживали свое трухлявые дома-развалюхи.

Идти быстро Эмилия уже не могла, растратив силы на бессмысленную скачку по метро, но все же поспешала как умела. Следовало обдумывать дальнейшие действия на ходу, но она с тоской убеждалась, что алкоголь не выветривается, как положено, а наоборот, торжественно разливается по организму, и в голове стоит непролазный серый туман.

«Как ей сказать? Да, как ей сказать об этом?.. Вот она откроет дверь... Когда услышит звонок, то, чего доброго, решит, что ненаглядный примчался раньше срока... А на пороге – пьяная и страшная рожа... Такой она меня еще не видела. А я ей и скажу... Да, и что я скажу? А я начну так: Маша, прости! Я – виновата! Нет, нехорошо, тем более, что не очень-то я и виновата... Лучше так: Маша! Я без вины виновата перед тобой! Именно... Хотя, позвольте, как это без вины? Я ведь, можно сказать, на нее навела... Дурацкое положение... И, кстати, как я обратно доберусь? Деньги на такси, к тому же, у нее занимать придется... Как неприятно!».

Новостройки кончились, и Эмилия обнаружила, что идет по узкой грязной дороге меж почти нежилых, облупленных и слепых домов. Где-то за деревьями просвечивала спокойная светлая гладь Невы, и оттуда доносились громкие нетрезвые вопли. «Хорошо хоть ночь белая! – подумалось Эмили. – Иначе я бы ни лешего тут не нашла. Кстати, а ведь не очень-то здесь и теперь, наверно, безопасно. И в домах этих кто угодно может находиться, и распивают, небось, под каждым кустом... Не принес бы кого лукавый – избави Боже!». И словно в доказательство ее всегдашней правоты, немедленно рядом затрещали кусты, и прямо перед Эмилией на дорогу проломился два в стельку нализовавшихся парня.

– О! – сразу направился к ней один, распахивая объятия. – Девушка спешит на свидание. А я уже здесь, любимая! Вот он я!

– Прочь с дороги, ублюдок, – процедила Эмилия, не сбавляя шага.

С того памятного дня, когда ей угрожали финкой за ларьками, она знала, что ее исключительная трусость проявляет себя самым неожиданным образом – отпетым хамством и бесшабашной отчаянностью. Сей раз не стал исключением: Эмилия торпедой перла в просвет между парнями. Так как они не спешили дать ей дорогу, то она остервенело пихнула в живот правого, и он отлетел от неожиданности:

– Да эта шлюшка дерется...

Второй одним прыжком нагнал Эмилию и цепко схватил за локоть:

– Куда так торопимся, девушка? Драться нехорошо... – ей в лицо плеснул свежий водочный запах, еще не перегар.

С другого боку возник первый – с хриплым шепотом:

– Шайбы снимай без разговоров, и серьги тоже, не то с ушами оторву... Сумку давай...

«Не насильники, а грабители, слава Богу!» – вспыхнуло у Эмили. Трусость по-прежнему демонстрировала себя во всей красе: острым каблуком Эмилия с размаху въехала одному из бандитов в подъем ноги, а другого, развернувшись, огрела сумкой по уху:

– Вот тебе моя сумка! – и, воспользовавшись секундным замешательством, бросилась наутек.

Бегать Эмилия умела еще со школы, когда птицей пролетала доброй памяти стометровки. Теперь, к тридцати, она, конечно, отяжелела, но на ногу оставалась по-прежнему легка. Если б не каблуки, она давно бы оторвалась от злой погони – но как на них бежать, на проклятых?! Грузный топот настигал Эмилию, а она вынужденно замедляла шаг, обреченно чувствуя, что с кольцами и серьгами придется распрощаться. «Хорошо, хоть бриллианты дома оставила!». Неожиданная идея заставила из последних сил прибавить ходу: «Я ведь одному из них очень больно сделала! Каблуком! Он мне не

простит – морду набьет, или серьги вырвет – с мясом!»). Она завернула за угол, и в глаза ей бросилась высокая чугунная решетка с острыми пиками наверху и сплошными кустами позади. Украшением решетки служили два ряда завитков посередине. Загнанная Эмилия стремительно взлетела на бетонное основание, уперлась ногой в завиток и в мгновение ока махнула на ту сторону забора, каким-то образом ухитрившись не повиснуть на грозных зубцах. Обрушиваясь в кусты, она почувствовала, как шиньон резко рвануло ветками, и посыпались шпильки, а секундой позже поняла, что у нее нет одной туфли. В следующий миг преследователи громко вывалились из-за поворота.

– Хватит, – бормотал один. – Ну ее на фиг, в баню, пугнули и баста.

– Смотри-ка! Золушка хрустальную туфельку потеряла! – пьяно умилился другой.

– Пошли отсюда! – уговаривал первый.

– Пусть она теперь за своей туфелькой – нырнет! – глупо захихикал его сотоварищ, и через секунду Эмилия услышала далекий всплеск.

Она догадалась, что к Маше придется добираться босиком и, вдобавок к деньгам, одалживать у нее еще и туфли.

Хохот и неразборчивые переговоры удалились в обратном направлении, и тогда Эмилия решила выбраться из кустов. Вторую туфлю пришлось сразу снять и там же, в кустах, и бросить. Оглядевшись, она убедилась, что находится во дворе здания, подвергающегося активному косметическому ремонту: повсюду стояли чаны с известью и белилами, там и тут приютились тележки о двух колесах, лежали лопаты и иные таинственные приспособления. Эмилия осторожно двинулась вперед, опасаясь поранить босые ноги или испачкать дорогую одежду. Что-то заставило ее глянуть вверх, и она ахнула: церковь! Она забралась за церковную ограду! Это не сулило ничего хорошего, так как было ясно, что ворота заперты на замок и, следовательно, выбраться назад придется тем же проторенным путем – через забор. Сможет ли она это сделать теперь, когда нет уже горячки погони и утрачена обезьянья ловкость, часто присущая удирающему в панике человеку? Положительный момент, правда, тоже имелся: новенький купол этой церкви был отчетливо виден из Машиного окна, поэтому Эмилии не приходилось беспокоиться о том, чтобы среди ночи отыскивать утраченное направление. Но не успела она сделать и десяти шагов, как за углом послышался отчетливый шорох. Эмилия рефлекторно отпрянула. Перед ней во дворике стояла огромная, с козла ростом, угольно-черная овчарка с острыми настороженными ушами. Собака серьезно разглядывала пришлицу, склонив умную голову набок. Она не производила впечатления кровожадного безмозглого зверя, готового растерзать любого на своем пути – от мыши до тигра, поэтому мгновенный испуг сразу сменился в сердце Эмилии надеждой опять выпутаться благополучно. Она давно вынесла из прочитанных книг уверенность, что твердый властный голос должен успокоительно действовать на караульную собаку, и уж конечно, понимала, что делать резкие движения или, еще хуже, убежать может в таких случаях только самоубийца. Так или иначе, бежать было некуда: позади нее возвышалась глухая задняя стена храма, а дорогу к решетке отрезал большой и черный друг человека. Хотя Эмилия и любила животных несколько отвлеченной любовью, как-то не получив в жизни возможности тесно пообщаться с ними, но была полностью убеждена, что собаки – почти разумные твари, и с ними можно по-деловому договориться. Она хорошо помнила, каким специалистом по таким переговорам считался в свое время ее коллега Волошин¹ – умел убедить в своей невкусности не то что сытно отужинавшую породистую собачку, а любое дикое и голодное животное в сказочных крымских горах у родного Коктебеля.

– Уважаемая собака! – громко заговорила Эмилия по образцу Волошина (острые бархатные уши заинтересованно шевельнулись). – Хотя я, наверное, и вкусная, но есть меня все-таки не следует. Я вам ничего плохого не сделала, и вашему хозяину – тоже. Более того, я оказалась здесь совершенно случайно. Я ничего отсюда не взяла. Эта

¹ Поэт Максимилиан Волошин (1877-1932)

сумочка у меня в руках – моя, а не ваша. Можете понюхать. Поэтому прошу вас, дорогая собака, пропустить меня обратно к решетке, а когда я на нее залезу, то снизу за ноги меня не хватать. Могу я считать, что мы с вами договорились? Черное изваяние, прочно стоявшее на четырех стройных лапах, не шевельнулось. Эмилия тихонько двинулась вперед. Но когда она приблизилась к овчарке на расстояние около метра, из утробы зверя донесся нарастающий низкий рокот. Эмилия попробовала обогнуть псину, притворно не обращая на нее внимания, но та начала угрожающе медленно разворачиваться, не меняя постоянного тембра своего урчания.

– Слушай ты, зверюга, – решила Эмилия усюветить животное на другой лад. – Раз ты не из интеллектуалов, то давай поговорим по-свойски. Пошла вон. Иди в свою будку и дрыхни. Ты меня с кем-то спутала. Брысь отсюда! Ой, пардон – фу! Фу, слышала? На место!

Песик еще раз оценивающе окинул жертву с ног до головы огненно-желтым взглядом и слегка приподнял верхнюю губу, усилив уже явно возмущенное ворчание. Слепительно белые на черном фоне клыки произвели на Эмилию тягостное впечатление.

– Может, прекратишь скалиться? – неуверенно попросила она.

Зверюга послушалась, но мягко ступила вперед. Не отрывая строгого внимательного взгляда от лица человека, она начала исподволь наступать на него. Эмилия попятилась. На ходу она быстро глянула назад и поняла, что собака сознательно намеревается припереть ее к стене церкви и – что сделать?! Растерзать, когда отступать станет некуда?! «Во дают, батьки! Такую злую собаку без привязи на ночь оставляют!». Овчарка не спеша надвигалась, заставляя Эмилию все пятиться и пятиться. Она наступила на что-то колючее, невольно охнула – но пес понукающее тихо рявкнул – и бесповоротно униженный презренным четвероногим венец творения очень скоро вжался зеленой бархатной спиной в свежоштукатуренную стену.

– Скотина ты, скотина... – обреченно обозвала Эмилия победившего врага. – Тупица ты, а не овчарка: овчарки умные!

Выполнив свою задачу, собака по-деловому уселась перед пойманной преступницей, а потом понемногу и легла, положив тяжелую башку на мощные передние лапы, но глаз с добычи не спуская.

– А мне что, стоять прикажешь? – сообразив, что рвать на куски ее не собираются, спросила Эмилия.

Она начала осторожно сползать по стенке, неотрывно глядя на своего сторожа. Но сторож не возражал, только повел ушами и напряг мышцы, ежесекундно готовый вскочить. Эмилии пришлось усестись прямо на землю, вытянув голые ноги вдоль стены и боком прижавшись к ней.

– Может, всетаки отпустишь меня, а? – жалобно попросила она.

Овчарка подняла голову, глубоко, от всего собачьего сердца, вздохнула и, словно для порядка, коротко ответила:

– Грррум...

«Рада бы отпустить, да служба моя такая», – безошибочно перевела Эмилия.

Уложив свою преданную хозяину голову попрежнему и смежив грустные глаза, собака обманчиво замерла перед добычей.

«Глупость какая! Боже, какая глупость!» – мысленно простонала Эмилия.

Тягучая, противная, медленная истома постепенно завладевала ее телом и рассудком. Она слишком устала сегодня – и физически, и от переживаний, слишком много и неправильно выпила... Мысли смешались. Тело жаловалось, что мерзнут ноги, что сидеть жестко и неудобно, что болят ушибы и царапины, полученные при падении в кусты – но все это воспринималось заторможенно, как сквозь вату. Эмилия попыталась найти более удобную позу – но очень разгуляться не пришлось: при каждом ее движении вовсе не безмятежно сомкнутые глаза животного мгновенно превращались в две ярко-желтые злые щелки, а в животе закипал незлобный, но все равно страшный рык. Эмилия подтянула под

себя холодные ноги и попыталась укутать их полой плаща. Голову она склонила к коленям, обхватила их руками и всем корпусом прислонилась к стене. И вот в такой неустойчивой, скрюченной позе, в неправдоподобной, совершенно невозможной в ее жизни ситуации, Эмилия неожиданно заснула. «Впрочем, горькие пьяницы засыпают и в более заковыристом положении», – была ее последняя ленивая мысль.

Наступил самый темный час самой белой ночи.

4

К вечеру Машу Туманову начало лихорадить. Обои она клеила кое-как, уже жалея, что вообще взялась за такое неблагодарное и трудное дело. «Какая разница?! Какая теперь разница?! Разве имеет значение, что вокруг, где мы сами, если главное – свершится: мы встретимся! Будет ли нам до чего-нибудь дело?!» – отчаянно думала она, ползая на карачках по периметру комнаты и обрезая неровные куски обоев внизу. Маше было и впрямь плохо: во-первых, она надорвалась непосильной работой, а во-вторых, по мере стремительного приближения назначенного часа, ее все больше охватывала нервная горячка.

«Что будет?! Господи, что будет?! Господи, осталось семь часов!» – острым молоточком билось в висках, отзываясь болью в то и дело замирающем сердце. Маша беспомощно села на корточки, убеждая сама себя, как мать – неразумное дитя: «Возьми себя в руки. Разве хорошо будет, если ты сейчас грохнешься во всамделишный обморок, как кисейная барышня! Соберись, скоро все решится!» – но быстро убедилась, что потуги эти бесполезны. Руки превратились в две непослушные ледышки, а ноги ослабли так, что Маше казалось, что ей на них никогда не подняться. «Если я сейчас уже так нервничаю, то что станет со мной, когда он позвонит в дверь?! На кого я буду похожа, когда он меня увидит!».

Она собрала всю свою немалую, в общем, силу воли и с горем пополам поднялась, держась за стенку. Ремонт в целом, хотя он и не выдерживал никакой критики, мог считаться законченным. Оставалось лишь – всего лишь! – сдвинуть обратно мебель и замести следы бедствия. Маша поняла, что должна допустить передышку и хотя бы взбодриться чашкой чая. Она поплелась в коридор, но там едва не упала от мгновенного ужаса: когда она миновала входную дверь, та вдруг с треском открылась и стукнула, задержанная цепочкой! На миг Маша оцепенела, но сразу вспомнила, что бояться нечего. Она просто успела позабыть о малоприятном происшествии, стрящемся после ее возвращения домой с выпускного вечера. Когда она вставила ключ в дверной замок, он вдруг, вместо того, чтобы привычно щелкнуть, начал гладко проворачиваться, не срабатывая. Драгоценные полчаса ушли на тщетную борьбу, после чего Маша вынуждена была побежать к соседям. Немногословный дядя Миша долго кряхтел над замком и тыкал в него разными крупными и мелкими предметами, но в конце концов выпрямился, развел руками и безнадежно отер пот со лба.

– Ничего, Маша не сделать. Менять надо.

Маша всплеснула руками:

– У меня другого нет, а покупать поздно!

Дядя Миша пожал плечами:

– Ну что поделаешь, завтра купишь. Я поставлю. А этот попросту взломать придется.

– А ночью! Ночью-то я как?!

Сосед добродушно похлопал ее по плечу:

– За одну ночь ничего не случится: сама подумай, кто в наши хоромы квартиру грабить полезет... А боишься – у нас ночуй. Мы с Петровной потеснимся на одну ночьку, делать нечего...

В любой другой день Маша так бы и поступила: шутка ли – ночевать в квартире одной, когда кто угодно может заглянуть, так сказать, на огонек! Но именно сегодня такой благополучный вариант пришлось отместить без колебаний.

– Спасибо, дядя Миша, я перетерплю... Что делать – ломайте.

Через три минуты дверь открылась, Маша скользнула внутрь и накинула цепочку. Стоя снаружи, понять, что дверь не заперта, было невозможно. «Игорь придет и что-нибудь придумает, – прошла у Маши вполне здравая мысль. – А если не умеет, то действительно дядю Мишу подключим». А сейчас лестничный сквозняк резко открыл дверь, испугав Машу едва ли не до полусмерти. Если б не цепочка, то она, пожалуй, и настезь распахнулась бы. «Когда я отучусь вздрагивать по пустякам? – обругала себя Маша, плотно закрывая дверь и в очередной раз для надежности осеняя ее крестом. – Господь просвещение мое и Спаситель мой – кого убоюся? Господь защититель живота моего – от кого утрашуся?¹» – теперь дверь была заперта надежнее, чем если б она была бронированной и имела не менее трех замков, включая сюда и "Цербера", и «Невидимку»...

Пока закипал чайник, Маша замочила в тазу тюлевую кухонную занавеску, щедро налив в воду отбеливатель. Вернувшись в кухню, она случайно подняла голову и ахнула: замысловато закрученный ободок белого плафона был полон давней пыли, сора и, кажется, даже дохлых мух! «А вот это – уже настоящий позор для хозяйки! – вспыхнула Маша так, как если б этот позор был уже обнародован. – У Эммы, небось, такого не бывает!» – и она сломя голову помчалась за тряпкой. Маша не знала, что у Эммы есть много интересных вещей, но только не плафон на кухне: она разбила его случайно, эдак полгода назад, и с тех пор хронически забывала купить себе новый, вспоминая про него только вечером, когда включалась болтавшаяся на проводе голая лампочка. Попив чаю, Маша долго воевала с упиравшейся мебелью, ей опять изрядно досталось от шкафа – «Да что он, дубовый, в конце-то концов?!» – а потом, полностью обессилев, долго понуро стояла под прохладным душем, не чувствуя холода от усталости и возобновившихся душевных терзаний. После этого Маша снова обрядилась в свое нарядное платье, в котором, как считала, блеснула на выпускном балу: учителя обратили внимание и наперебой хвалили, а она краснела и отводила глаза, непривычная к комплиентам. Когда долго не удается сделать комплимент человеку, и он вдруг подает повод, его начинают захваливать настолько усиленно, словно вознаграждая за понесенные убытки по этой части, что порой ставят в настолько неудобное положение, что несчастный успевает двадцать раз раскаяться. Тем более, Маша уловила нарочито громкий шепот директрисы на умышленно близком расстоянии:

– Спасибо нашей Эмилии Цезаревне: хоть чему-то Машу научила.

– Спасибо Эмилии! – громко сказала и Маша глубокой ночью, второй раз сидя у стола с чашкой чая – в новом платье и с распущенными волосами.

А платье действительно подбирала ее первая настоящая – на всю жизнь! – подруга, сумев одновременно и потрафить Машиной скромности, и собственной любви ко всему нежному и изящному... Ее мысли опять вернулись к выпускному вечеру: досадно было вспомнить, как все впечатление испортил тот же Женя Афанасьев, с демонстративным презрением отвернувшийся от учительницы в ответ на ее примирительную улыбку...

– Ах, да Бог с ним! – почти болезненно вскрикнула Маша, отодвигая недопитую чашку. – Не хватало еще, чтоб я позволила испортить мне такой день!

Она посмотрела в окно, будто надеясь углядеть за ним ту самую звезду по имени Полярная. Вот уже два с половиной года, почти каждую ночь, когда не было туч, она обязательно улучала минутку, разыскивала на небе эту маленькую звездочку и слабо улыбалась ей, как подруге, видя в этом как бы залог завтрашнего неперемного счастья.

¹ Псалом 26, ст. 1-2, считается заградительным

Но стояли белые ночи, а сегодня еще собрались облака, да и свет горел на кухне у Маши, так что окно стояло темным, почти как осенью...

Маша недоуменно уставилась на окно: да ведь темным оно казалось оттого, что на нем отсутствовала белая тюлевая занавеска! «Ну можно ли быть такой клушей!» – Маша вскочила и кинулась вон из кухни – стирать занавеску, так и не попытавшись подойти к окну и высмотреть свою заветную звездочку...

5

Симпатичный беленький теплоходик с двумя дюжинами ошалевших от свободы выпускников на борту не спеша шел вверх по Неве. Отяжелевший от водки, пасмурный Жека Афанасьев примостился на корме с пластиковым стаканчиком в руке. Бутылка торчала у него из кармана выходного пиджака, он периодически вынимал ее, подливал в стаканчик и начинал рассеянно прихлебывать, мрачно глядя на воду, бившую белым ключом за кормой. Он сегодня с самого начала обособился ото всех: не смеялся и не улюлюкал во время торжественного вечера, не плясал на дискотеке и не задирали одноклассниц, а все норовил держаться в стороне, беспрестанно озабоченный чем-то важным и секретным. Поначалу к нему еще приставали, пытались растормошить, но вскоре поняв, что дело безнадежное, отваливали в сторону, пожимая плечами: не хочешь – не надо, не наше дело.

Жекин ближайший друг и соратник Вася Хлыщев, имевший с первого класса само собой разумеющуюся кличку, весь вечер отчаянно ухлестывал за Викой Скворцовой, которая вот уже полных два года не обращала на него никакого внимания. Вася очень страдал от понимания того, что сегодня, скорей всего, видит Вику в последний раз, и поэтому тоже излишне налегал на спиртное, стараясь почерпнуть оттуда достаточную храбрость, чтобы признаться, наконец, в большой, но чистой любви и получить разрешение хотя бы иногда позванивать.

– Уберите от меня этого пьяного кретина, – холодно приказала Вика близнецам Власовым, служившим ей в качестве добровольных охранников, когда выслушала Васину сбивчивую речь.

Вася не стал дожидаться, пока его уберут, предпочел убраться самостоятельно и побрел по палубе разыскивать друга, чтоб излить ему свое навеки разбитое сердце.

– А у меня, Хлыщ, дед сегодня помер, – сообщил Жека в ответ на Васино мужественное признание.

– Да ну! – растерялся Вася. – Прямо сегодня?

– Угу.

Вася не помнил, чтоб Жека слишком нежно отзывался раньше о своем парализованном прадедушке, но – чужая душа потемки! – на всякий случай виновато посмотрел на приятеля и пробормотал:

– Ну, раз такое дело... В общем, прости, если я что не то... Жаль старика. Пусть земля ему пухом...

Жека сморщился:

– Не в том дело. Вредный был старикашка – чего базарить. Стервился много. То ему не так, это не эдак... Тапком матери в лицо один раз зафигачил... Но, понимаешь... Это ведь я первый его нашел. Захожу к нему в комнату, это, с завтраком... А он мертвый. И не на постели, главное, лежит, а на полу. В пижаме. И такой вдруг... – Жека щелкнул пальцами. – Жалкий! Маленький, скрюченный весь... А ведь в жизни был – ого-го! Батя говорит, еще в восемьдесят лет медный пятак мог пальцами согнуть. Почти до ста лет дожил – а ни тебе маразма, ничего. Такой, прямо, дуб могучий. Вчера еще. А сегодня вхожу, а он – маленький. Совсем маленький, как ребенок... Ну, предки с работы прибежали, вызвали там этих, из морга. В общем, увезли. А у меня все перед глазами стоит: какой же маленький оказался! Как страшно помирать, наверно, Хлыщ, а? И будешь

так вот лежать, а кто-нибудь над тобой встанет и скажет: я думал, он во какой, а оказывается – маленький...

Вася нерешительно похлопал друга по плечу:

– Ему сколько лет было? Девяносто восемь? Ничего, пожил будь здоров, самому, небось, надоело. А ты его правнук, значит, гены у тебя и от него тоже. Так что готовься и сам лет восемьдесят еще скрипеть. А там, знаешь... Медицина развивается... Так чего сейчас-то об этом думать? Ну-ка, плесни лучше грамм пятьдесят на помин души!

Стаканчик у Жеки был только один, поэтому выпили по очереди, и ему понравилось как: сурово, по-мужицки, как и подобает, наверное, в таких случаях. Жека еще раз испытующе глянул на друга и решился:

– Он у нас знаешь, кто был? Служил в этих... ну, в органах. В общем, нашел я у него кое-что.

Вася глянул заинтересованно. Жека осмотрелся.

– Сейчас не могу показать. Еще припрется кто. Потом.

Хлыщ серьезно кивнул:

– Догадываюсь. Ни фига себе! Как он его сохранить умудрился?

– А он наградной. Там и табличка приделана с гравировкой.

– А ты чего, с собой, что ли, таскаешь?! – всполошился Вася. – Ну, дурак!

– И сам не знаю, чего взял. Предки, вроде, в моих вещах особо не шуруют... А все равно. Хочешь верь, хочешь не верь: с ним совсем другим человеком себя чувствуешь. Будто заново родился, честное слово.

– Еще бы. Могу представить, – согласился Хлыщ. – Я бы... Кстати, ты как – не псих? Сдавать его... куда следует... не собираешься?

– Да что я – конченный?! – возмутился Жека. – Там у них в конторе со всеми этими перестройками такой бардак творится, что об этом и думать забыли давно. А в случае чего, мое дело маленькое: не знаю, не видел. Деду девяносто восемь лет было: иди, ищи-свищи!

– Только ты смотри, место ему понадежней найди, чтоб никаких случайностей... А то знаешь... Причаливаем, что ли, куда-то?

Теплоход действительно целенаправленно повернул к маленькой полуразрушенной пристани. За ней виднелась живописная уютная полянка, окруженная кустами, словно специально созданная для уютного пикника. Центр города и даже промышленные районы остались позади, и теперь воспетая всеми, кто не поленился, Нева выглядела обычной провинциальной, не особенно-то и широкой речкой. Здесь теплоход развернулся, целясь на обратный путь, но тихую пристаньку углядела мило окосевшая Валя Зарубина, одетая в настоящее бальное платье из золотой парчи, напроочь скрывавшее ее обалденные ноги проститутки, но зато бесстыдно открывавшее миру цыплячьи острые плечики в синюшных пупырышках по случаю внезапного похолодания. Это она придумала послать к капитану наспех сколоченную делегацию с просьбой оформить незапланированную «зеленую стоянку». Сопровождали выпускников обязательные мужчины – физрук и два активных папы. Они удачно спелись между собой еще в автобусе, благо их общее количество как раз удобно подходило для традиционного занятия. Поэтому когда капитан пожелал узнать их мнение, то нашел всю тройку в нижнем пустом салоне в состоянии неопишемого довольства друг другом и полного равнодушия к дальнейшим передвижениям судна.

А капитан был еще молод, хотя уже неудачлив в личной жизни. Ему приятно было видеть, как золотая с головы до ног свеженькая красотка, кокетливо приложив два пальчика к виску, задиристо напевает, глядя ему в глаза:

– Капитан, капитан, улыбнитесь...

Да и команда его состояла сплошь из студентов-водников, вчерашних таких же школьников, которые были вовсе не прочь подурачиться со сверстниками на бережку; а он бы, пожалуй, охотно присоединился ко взрослым сопровождающим...

Миниатюрный кораблик осторожно подвалил к причалу и, вопреки всем правилам, ладно пришвартовался у старой, но вполне еще пригодной пристани. Спустили сходни, и детки с ревом и визгом посыпали на берег. Девушки на ходу выпрыгивали из утомительных «лодочек» и, поддерживая длинные, как в кино, платья, босиком скакали по холодной мураве, а парни сразу по-первобытному озадачились немедленным возжжением огня...

Жека и Хлыщ по-первости добросовестно таскали вместе со всеми топливо, потом опять выпили водки: однажды – общую обязательную чарку и трижды – личную, в отдалении, а потом Жека многозначительно глянул Васе в глаза, слегка мотнув головой на темные кусты. Понятливый Вася моментально снялся с места, оба они незаметно растворились среди деревьев и деловито зашагали прочь, стремясь скорей уйти на безопасное расстояние. Когда оранжевые блики костра уже едва-едва мелькали позади, Жека остановился и огляделся. Они стояли на узкой, заваленной мусором дороге, бежавшей между низкими строениями по типу рыбацких хижин, а невдалеке виднелось за деревьями приземистое здание, напоминавшее барак, где, тем не менее, светились в серой мгле зажженные окна.

– Во блин, неужели здесь люди живут? – изумился Вася.

– А ты думал... Ладно, нет, кажется, никого... Смотри, – еще раз повертев головой, Жека вытащил из глубокого брючного кармана нечто, завернутое в плотную серую тряпку. Протянул, развернув, Хлыщу на ладони:

– Вот.

Вася жадно схватил – и рука его непроизвольно опустилась:

– Блин, тяжелый какой... Не знал, что такой тяжелый, чуть не выронил... А холодный-то!

– Осторожней ты! – прикрикнул Жека. – Еще покалечишь кого из нас!

– А он – что... – и цепкая Васина рука дрогнула.

– А ты думал! – повторил Жека. – Под завязку. Уж проверил: разбираюсь, сам знаешь...

– А можно еще подержать? – как дите, спросил Хлыщ.

– Держи, – великодушно разрешил Жека.

Он призадумался и прислонился к березке, в упор глядя на замороженного приятеля...

– Вот оно какво – смерть в руках держать, оказывается... Она, наверное, такая и есть, как он... Тяжелая и холодная... – вдруг изменившимся голосом произнес Жека, но сразу встрепенулся и потряс головой: – Давай, хватит. Потом еще раз достанем. Бережно завернул, убрал в карман и тщательно застегнул свой, как специально удлиненный, пиджак.

– Нормально, – кивнул Вася, – не видно. Только смотри, чтоб какая из баб прижиматься не начала. А то почует, враз заорет и...

– А почему, ты думаешь, я не танцевал сегодня со всеми и не тусовался? – огрызнулся Жека.

– Ну ладно, – закрыл тему Вася. – Вещь обмыть надо, и – обратно, а то без нас уплывут. Пересчитывать сегодня, сам понимаешь, не будут.

– Идет, – Жека полез к приятелю в карман за бутылкой, а Хлыщ достал из Жекиного пиджака стаканчики.

– Ну, давай, Жека, за него, в общем. Чтоб служил тебе, как деду твоему, верой и правдой. Чтоб не подвел в трудную минуту. Ну, ты знаешь...

– Заметано! – Жека пожал другу руку, и они торжественно выпили. Хлыщ вытер губы рукавом и пошатнулся:

– Черт, плохо пошла. Перебрали, кажется... А ты это... В деле-то когда его испытать думаешь?

Даже в темноте он увидел, как сверкнули Жекины глаза:

– А что? Давай сейчас, а? Пойдешь? Район, кажется, что надо – не прибежит никто. Найдем, где потренироваться...

– А мне попробовать дашь? – ревниво спросил Вася.

Но испытать приобретение все никак не получалось. То в самый ответственный момент в опасной близости слышались человеческие голоса, то не находилось подходящего неодушевленного объекта. Один раз, правда, пересекла им путь опасливая полосатая кошка, и Жека дернулся было в ее сторону, но наметившийся в ветинститут Хлыщ повис у него на руке:

– С ума спятил? Чем она виновата?! А вдруг котятка у нее?!

Жека одумался:

– Действительно, живодер я, что ли...

Четверть часа спустя им попалась наглая кудрявая дамочка, которую они решили мимоходом невинно разыграть, изобразив ночных грабителей. Но дамочка оказалась с норовом и успела едва ли не затоптать Васю острыми каблуками, а Жеку чуть не убила тяжелой сумкой, хрястнув его со всего размаху прямо по кумполу. Они долго с криками преследовали кудрявую по узким переулкам, пока мамзель вдруг не исчезла, как сквозь землю провалилась, оставив им на память свое оружие – миниатюрную остроносую туфлю на тонком каблуке с железной набойкой. Нева почему-то оказалась совсем рядом, и обиженный Вася запустил свою добычу туда, справедливо посчитав, что это его законная месть за проявленное мамзелью зверское с ним обращение. Они допили водку, сидя в кустах на траве, после чего благоразумный Вася принялся тянуть Жеку назад, на поиски утерянной пристани, но на того нашел пьяный кураж, и он все рвался в другую сторону, еще лелея надежду найти подходящее местечко для полигона.

– Уплывут без нас – мы тут вообще пропадем, – урезонивал Хлыщ разошедшегося не на шутку друга.

– Не, они надолго завелись, до утра дурью промаются, – сопротивлялся Жека, устремляясь на шатких ногах в призрачную даль. – Глянь, как красиво.

Перед ними в низине, вырастая прямо из легкого тумана, возвышался розовый трехэтажный дом с редкими освещенными окнами, а за ним стелилось, будто подернутое молочной пеной, бескрайнее поле.

– Свалка, – определил Вася.

– Да нуу?! – обрадовался Жека. – Так это же то, что мы ищем! Ни одна собака не узнает!

– Слушай, давай лучше вернемся. В следующий раз.

– Следующий, следующий, – махнул руками Жека. – Когда он еще будет! Да мы быстро! Раз, два – и в дамках.

– Как бы не вышло, как с той дамкой, – предостерег Вася. – У меня нога до сих пор горит.

– А у меня – душа! Душа горит! Все, Хлыщ, идем на свалку! – и Жека ломанулся вниз по пологому склону холма, продираясь сквозь редкие кусты.

Хлыщу осталось только поспевать за ним, и через минуту они оказались в зарослях перед домом.

– Давай кустами пройдем: мало ли, кто из окон подсмотрит, – внес ценное предложение Вася, и они, крадучись, насколько это возможно для двух очень нетрезвых людей, стали пробираться по запущенному газону.

– И живет же здесь кто-то... – бормотал Жека, косясь на розовый дом. – Я бы не смог, страшно ведь... Ни хрена себе, райончик... А ведь живут люди – и ничего...

– А вон и баба на первом этаже в окне, – расплылся в улыбке Вася. – В синем платье... Занавеску вешает... Прозрачную...

Жека без интереса глянул и – остановился. Помотал головой. Глюк, что ли, после сегодняшнего?

– Ты чего застрял? – тормозил Хлыщ.

– Слышь, Вася...

– А?

– Я до чертей, по-моему, допился. Посмотри-ка еще раз на бабу... А то мне уже везде Сиротка мерещится – такую свинью подложила, сволочь, – неуверенно попросил Жека.

Хлыщ добросовестно взгляделся и просиял:

– Точно, Сиротка! И в том же платье, что на ней вечером было! Она! Господи, неужели она в этом доме живет...

– Подожди... – крутил головой Жека. – Какое платье... На кой черт она в вечернем платье будет занавеску вешать... В три часа ночи!

– Правда... – задумался Вася. – С ума она сбрендила, или как?

– Сбрендила, давно сбрендила... – медленно кивнул Жека, не отрывая взгляда от женской фигуры с поднятыми руками в окне.

Вася покосился на приятеля, увидел глаза, в упор уставившиеся на Сиротку, и почувствовал, что начинает резко трезветь.

– Ээ... ты чего... Пошли давай... Ну ее, – осторожно позвал он, еще по-настоящему не понимая, что именно так испугало его.

– Не-ет, пришли... – зловеще выдохнул Жека. – Вот теперь никуда не пойду... – и Вася увидел, как рука его медленно двинулась к правой поле пиджака.

Хлыщ схватил потерявшего, верно, рассудок приятеля, развернул к себе и тихо рывкнул:

– Сдурел?! Это же человек живой! Опомнись, дурак, нажрался, как свинья, теперь дел наделаешь... Сибирь повидать захотелось?!

Одним движением Жека высвободился:

– Это – человек, что ли? – хищно кивнул на окно. – Падаль это, тварь, понял?! Я эту гниду...

– Хорошо, хорошо, – подскочил к нему Вася и стал успокаивающе оглаживать по рукам. – Гнида, гнида, кто спорит... Но только ведь в тюрьму ты из-за нее не хочешь? Из-за гниды? Потому что ведь найдут, Жека... Как раз плюнуть на тебя выйдут...

– За идиота держишь?! – шепотом заорал Жека. – И рад бы, да понимаю... Не-ет... Видишь, плафон у нее над головой? Вот его я и разнесу – вдребезги. А ей – на всю жизнь страшно будет.

– Жека! – протестующее поднял ладони Вася. – Ты не попадешь... Ты голову ей разнесешь, а не плафон... Ты ведь пьян совсем... Смотри сюда... Честно скажи – пьян? – и он опять исподволь повлек друга прочь, тихонько прихватив за локти.

– Хватит гипнотизировать! – легко вырвавшись, с ненавистью процедил Жека. – Пьян, не пьян – какая разница?! Все равно попаду куда хочу! Сколько в тир наш ходил – без толку, что ли!

– Ты же убьешь ее, придурок! – умоляюще простонал Вася. – Не позволю, хоть дерись со мной!

– Дерись? – ухмыльнулся Жека. – На хрена мне пачкаться...

Его рука метнулась к карману, серым комком отлетела тряпка – и Вася отшатнулся...

– В сторону! Или я за себя не отвечаю!!!

«Может... Не отвечает... – сообразил Хлыщ. – Ну, влип...».

Он инстинктивно зажмурился, и в ту же секунду оглушительный звук прокатился по окрестностям. Вася не слышал звона стекла, но, открыв глаза, увидел, что окно Сиротки погасло. Жека стоял неузнаваемый.

– Бежим! – опомнился Хлыщ, хватая подельника за плечо. – Да бежим же, болван! Дай сюда!

По счастью, Жека спохватился, медленно разжал пальцы и кинулся прочь. Задыхаясь, Вася бежал рядом с ним почти плечом к плечу и, как закливание, шептал на бегу:

– Свет погас – значит, в лампу... Свет погас – значит, в лампу...

6

Внезапный грохот оглушил стоявшую на цыпочках на жиденькой табуретке Машу. Она пошатнулась от неожиданности, взмахнула руками, в один непоправимый миг потеряла равновесие и полетела навзничь вместе со звенящими осколками, успев только понять на лету, что вокруг мгновенно потемнело. Острый угол холодильника пришелся точно в затылок, но боли она не почувствовала – лишь сотряслось в полете все тело. Оно еще не достигло пола, когда Маша увидела ослепительно белый, белей ангельского крыла, свет и молниеносно подумала: «А! Вот как называется моя страна!».

Тело ее аккуратно легло набок в узкий промежуток между холодильником и кухонным столом, ладони сами собой сложились одна к другой, влажные волосы упали на щеку. Если бы она лежала так не на дощатом крашеном полу, а на своей высокой девственной постели, то со стороны могло бы показаться, что девушка безмятежно спит сладким утренним сном и видит безгрешные сны о невиданной блистающей стране с ею самой только что придуманным названием – Светлалая.

7

Эмилия очнулась от резкого скрежещущего звука. Она пришла в себя сразу и поняла, что источник скрежета может быть только один: с другой стороны открывают железные ворота. Она услышала звук мотора, заметила, что солнце взошло на очистившееся от облаков светлое небо, а черная собака по-прежнему лежит перед ней и улыбается. Она действительно улыбалась, эта удивительная собака и, не меняя позы, радостно била толстым хвостом о землю: верно, почуяла хозяина. «Сейчас он придет сюда и меня освободит, – сообразила Эмилия, и сердце ее упало: – В каком виде он меня найдет?!». Одеревеневшее за ночь тело никак не хотело слушаться, но Эмилия все-таки сумела открыть сумку и извлечь оттуда свое кокетливое зеркальце. Заглянув туда, она отчаянно вскрикнула от ужаса: голова, отразившаяся там, никоим образом не напоминала ее собственную. Все лицо было покрыто черными и цветными разводами смытой вчерашними слезами косметики, шиньон спутался и болтался сбоку на одной уцелевшей шпильке, волосы, зачесанные кверху, слиплись от лака и стояли на голове дыбом в виде острых твердых сталагмитов, а глаза являли собой яркую иллюстрацию к одной из строф самого известного стихотворения Блока... Эмилия окинула отчаянным взглядом и все остальное, на данный момент ей принадлежащее, а именно: изгвазданный в штукатурке, с огромной дырой на поле плащ, который теперь побрезговала бы надеть и последняя бомжиха, торчащие из-под него грязные босые ноги с серебристыми ногтями... Закрыв лицо руками, Эмилия застонала, подумав, что ее единственное желание сейчас – одно из самых распространенных: провалиться сквозь землю.

Собака между тем начала от избытка чувств поскуливать, все чаще колотя хвостом, а на другой стороне церковного двора слышались громкие мужские голоса. «Если священник – я умру на месте», – твердо решила Эмилия, поняв, что уверенные шаги неумолимо приближаются к углу церкви с той стороны. Они завернули за угол и замерли позади. Эмилия перестала дышать и закрыла глаза. Кто-то присвистнул, а потом изумленно проговорил басом:

– Гляди, отец дьякон, Ночь поймала кого-то! Фу, Ночь, фу, отпусти его, иди ко мне! Эмилия услышала, как собака с восторгом вскочила и, повизгивая, заскакала вокруг человека.

– Хорошая псина, хорошая, молодец! – приговаривал тот, очевидно, трепля ее по голове.

Приблизились другие быстрые легкие шаги. Над Эмилией теперь стояли двое.

– Вот смотри, дьякон, женщина, кажется, – доложил первый голос.

– Попробуй, разбери в наше время, – философски заметил дьякон.

– Не вижу повода для шуток! – собрав, по возможности, остатки чувства собственного достоинства, холодно вмешалась Эмилия. – Собака меня чуть не растерзала! – она решила в сложившейся ситуации взять на себя роль обвинителя и, коль скоро приходилось показаться людям в таком виде, то хоть дать им понять, что перед ними не шаромыжница, а вполне приличная женщина, волею судьбы оказавшаяся в плачевном положении. – Вы не имеете права давать свободно разгуливать такой злобной собаке.

– Это Ночь-то наша злобная? – обиделся первый мужчина.

– А вы, интересно, имеете право на запертую территорию залезать? – поинтересовался дьякон.

– На меня напали бандиты и хотели ограбить, – тем же ледяным тоном, но все еще не оборачиваясь и не являя лица, пояснила Эмилия. – Или... в общем, они что угодно могли сделать. Я от них побежала, увидела этот забор, перелезла – они и отстали. Я бы посидела немножко и ушла спокойно. Но эта ваша... Ночь... с рычанием на меня накинулась и загнала в угол. Вот я и просидела здесь до утра. А что мне оставалось делать?! Пошевелись я – и она бы меня разорвала!

– Понимаю, – согласился дьякон. – Сочувствую, но ничего не попишешь: еще дешево отделались... Давай, помоги ей подняться, Федор.

Наступил тот самый момент, которого так боялась Эмилия: дальше скрывать волосы и особенно лицо было невозможно – и оно произвело свое неизгладимое впечатление: оба – и толстый бородатый Федор, и маленький бледный дьякон отшатнулись одинаковым движением.

– А... а... туфли... – дьякон почему-то счел это самым важным в данной ситуации.

– Там, – коротко кивнула головой на решетку Эмилия. – В Неве.

Повисло тяжелое молчание. Но Федор, человек, по всей видимости, очень здравомыслящий и не особенно комплексующий по пустякам, быстро сориентировался на местности:

– Да лапшу она нам на уши вешает! А мы-то! Ты только глянь на нее, отец дьякон! Это даже вон Ночи нашей понятно: нализалась вчера до изумления и сама не помнит, как сюда попала. А нам сказки рассказывает! Ты носом, носом потяни, дьякон! От нее же перегаром на три метра вперед несет!

Дьякон с сомнением принял:

– Н-не знаю... В золоте вся... Одежда приличная... Была...

– Ну, так валютная, значит! – нашел удачное объяснение Федор. – Что сестрица, клиент неудачный попался?

– Что вы себе позволяете! – гневно крикнула Эмилия, позабыв о своей печальной наружности. – А вы куда смотрите, отец дьякон, что в вашем присутствии женщину оскорбляют!

– Ладно, – принял единственно верное решение дьякон. – Какая разница. В любом случае, вам тут делать нечего. Идите с миром куда шли и извините за неудобства.

– В таком виде?! – возмущилась Эмилия. – Вы мне, может, хотя бы умыться предложите? Я уж не говорю, что могли бы и обувь поискать какую-нибудь старую – как я по улице пойду?! Ничего себе, милосердие служителей Божьих!

– Помалкивай давай! – велел Федор, крепко хватая Эмилию за предплечье. – И дуй отсюда, пока отец настоятель не приехал. Не хватало еще, чтоб перед ним такая... образина предстала.

– Да что же это за наглость такая, – взвизгнула, вырвавшись, Эмилия; ее осенило. – Отец дьякон, взгляните! – она выхватила из сумки свои впечатляющие писательские корочки, всегда ранее действовавшие на обывателя как флейта на кобру. – Убедитесь, наконец, что я нормальная женщина! Запретите этому человеку так обращаться со мной и окажите какую-нибудь помощь!

– Бригман Эмилия Цезаревна, – громко зачитал дьякон. – М-да...

Федор сначала было тихо фыркнул, а потом не удержался и зареготал. Сквозь здоровое сочное ржанье вырывалось:

– Ну, Ночка... Ну, боец... Такую... вражину... поймала... А мы не оценили... А документ-то, документ! Ой, не могу...

Дьякон пронаблюдал с минуту и затрясся от мелкого смеха. Эмилия тоже затряслась – но от злости, унижения, невозможности что-либо объяснить этим людям и сознания своей полной беспомощности. Бородатый забрал у дьякона удостоверение и вволю нагляделся на него, приговаривая сквозь смех:

– Вот где еще одно гнездо-то ихнее... Вот что бомбить-то надо в первую очередь... А то – Дума, Дума... – и он принялся вытирать кулаками так и брызнувшие слезы.

– Может, ненастоящий? – усомнился дьякон.

Эмилия наблюдала сию кошмарную сцену как со стороны. Она прекрасно сообразила, что добавить перцу, испустив крик: «Как вы смеете, я русская, просто мой папа англичанин!» – означает довести эпизод до пика гротеска, и потому угрюмо молчала. Она остро жалела о том, что, решив укоротить им языки, на деле их – удлинила. Где были ее мозги, она что, предположить не могла такой реакции?! Она, столько раз уже нажигавшаяся!

Федор и дьякон между тем разговаривали так, будто Эмили и вовсе не существовало в природе.

– Может, кто их знает... Были б деньги – и не такие корки купить можно... Вон у нас жертвователю – помнишь, бизнесмен такой крутой, мужик здоровый, еще в куртке из змеиной кожи ходит? Так он документ себе выправил, верней, на фирме выдали. Большой, красный, на обложке – орел, внутри – цветная фотография, печати круглые солидные... Сверху, крупно – «Россия», имя-фамилия написаны и – вот такими буквами! – должность: советник президента. А название фирмы где-то чуть не сбоку мелким шрифтом, и не видно никому... Ну, а однажды в гостях перебрал он по-черному. Домой ехать не надо, дворик только пройти, и все. Ну, короче, дворик он перейти не сумел. Решил в кустах передохнуть и – отключился, прямо как эта вот подруга. Ну, подъезжает ментовозка, видят – в кустах карась такой сытный. Гайки золотые, цепь в палец и крест размером с наперсный, только из червонного золота. Ну, думают, добыча попалась... Документы из кармана достали...

– И что, – спросил дьякон, – обобрали?

– Как бы не так! – внутренне рокоча, досказал Федор. – Через пять минут его жене в квартиру звонок. Она открывает – стоят два мента, а ее благоверный у них на плечах висит. Она им – мол, родненькие, благодетели, спасибо, доставили, не бросили... А они ей: «Куда, мадам, прикажете положить господина советника Президента?» – и рокот прорвался наружу в виде громоподобного хохота.

В глазах у Эмилии уже давно потемнело.

– Дайте... сюда... – она выхватила книжку из ослабевших пальцев бородатого веселого Федора.

– Да! Так делать же с ней надо что-то! – спохватился ответственный дьякон. – И так уже сколько провозились...

– Да чего там делать, пинка под зад – и всего делов! – и Федор обернулся к Эмилии с этим недвусмысленным намерением.

Она в ужасе отскочила, чувствуя, что если дело именно тем и кончится, то такого ей не пережить никогда. Как давеча от собаки, она теперь пятилась от ее хозяина в сторону открытых ворот, еле сдерживаясь, чтобы не развернуться и не побежать. Но ей хотелось если не последнее слово, то хоть последний взгляд оставить за собой. И она вложила в этот взгляд на брата во Христе все до капли презрение, какое нашлось в душе – а за последние годы его накопилось немало.

Но Федору, верно, надоело это затянувшееся приключение. Он сделал широкий шаг, схватил Эмилию за плечо и, хотя и не решившись на пинок, просто вышвырнул ее за калитку, толкнув от всего сердца. Эмилия не знала, как устояла на ногах. Слезы застлали взор и, ничего не видя, она кинулась в сторону Невы...

Потом она не помнила, как оказалась у самой реки.

– Скотина! Негодяй! Какой же негодяй! – беспрестанно повторяла Эмилия, не зная толком, к кому относятся эти оскорбления: то ли к мужу, о котором она и знать не хотела, где он сейчас и что с ним, то ли к давешним пьяным грабителям, благодаря которым она стояла босая и, кажется, вдобавок поранившая правую ногу, то ли к жизнерадостному туповатому Федору, обошедшему с ней так, как никто и никогда не обходился – она аж сотрясалась от воспоминаний о своем унижении!

Но вскоре Эмилия начала постепенно успокаиваться: окрепшая в борьбе душа инстинктивно отвергала все, что могло стать для нее источником долгих мучений. Прежде всего, следовало подумать о насущном – хоть как-то привести себя в относительный порядок, и, кроме того, она вдруг вспомнила о том, из-за чего оказалась здесь, в гадючьих трупобах. «Маша! А я и забыла про нее, Господи!». Эмилия взглянула на часы и удостоверилась, что стрелки приблизились к семи. «Бедная, что с ней там делается! Дошла, наверно, до крайности!». Она с сомнением глянула на невские воды, подступившие прямо к ногам: здесь, у самого берега, казалось, было относительно чисто. В любом случае, ничего другого не оставалось, кроме как низко нагнуться над водой и тщательно умыть лицо – так Эмилия и сделала. Потом она сняла плащ, хорошенько вытерлась его внутренней стороной и брезгливо откинула в сторону: если б даже и удалось его как-то отчистить от мела, то о том, чтобы незаметно залатать зияющую дыру, не приходилось и мечтать. Таким образом, с плащом она без сожаления рассталась навсегда и задумалась о прическе. Вынула последнюю не сдавшуюся шпильку, аккуратно расчесала гребнем чужие волосы и, бережно скатав шиньон, уложила в сумку. Собственная голова находилась все еще в невозможном состоянии, но Эмилия щедро намочила ее и расчесала редкие перышки вниз. Они повисли вдоль шеи противными липкими сосульками, но это было лучше, чем раньше. Затем она критически осмотрела платье, найдя его вовсе не пострадавшим и вполне приличным. Это было одно из самых нарядных ее платьев. Один знакомый художник, долго проколебавшись, определил его цвет как «утренняя заря» – так блестел, переливался нежными красками тонкий гладкий шелк.

«Люди в обморок попадают, – усмехнулась Эмилия. – Идет эдакая дива в золоте и сверкающем платье, зато с серо-зеленой рожей, почти без волос и, главное, – босиком. Маша меня, пожалуй, не с первого взгляда и узнает...».

Она повесила сумку на плечо и, осторожно ступая по земляной тропинке, стала подниматься обратно на пологий берег. Летнее солнце уже достаточно высоко поднялось над землей, и Эмилия вспомнила, что уже много лет не видела никакого раннего утра – ни летом, ни зимою. Ночной холод сошел без остатка, и день обещал стать таким же жарким и безоблачным, как вчерашний. Она быстро сориентировалась, выбрала кратчайший путь к Машиному дому и пошла уверенней, с удивлением чувствуя, как неожиданно легко дышится, почти наслаждаясь прохладными, робкими колебаниями воздуха. Люди навстречу не попадались, и Эмилия радовалась этому: ей было стыдно не босого своего лица и необутых ног, а почему-то именно вызывающе красивого платья и золотых украшений. Простая истина, постигнутая Эмилией в те минуты, заключалась в том, что женщина с таким лицом не должна была, не имела права надевать такое платье и такие драгоценности... Пожалуй, вместе с туфлями она попросит у Маши на время и что-нибудь из ее скромного гардероба... Эмилия остановилась, сняла с себя кольца, серьги, толстую, как у новых русских, золотую цепь-ошейник и спрятала в сумку со смутным ощущением, что ей сегодня неприятно даже прикасаться к золоту. И может, уже не будет приятно никогда. В сумке она наткнулась на шиньон, и в ней шевельнулось чувство настоящей

гадливости: «Прямо будто скальп чей-то, честное слово!». Эмилия вытянула его и, раскрутив, остервенело швырнула в ближайшие кусты – где шиньон живописно повис на ветке, ожидая часа, чтобы до икоты испугать впечатлительного прохожего.

Совершив эту акцию, Эмилия внезапно испытала невероятное облегчение, такое, как когда говорят: гора с плеч свалилась. Она шагала и шагала вперед, привычно пытаясь разобраться в своих чувствах, но впервые не понимая в них ровно ничего – кроме того, что ей хорошо, светло и радостно, и у нее есть еще надежда на лучшее в этом мире, и первое, что ее ждет сегодня – встреча с наконец-то обретенным настоящим – на всю жизнь! – другом.

Дорога вела на северо-восток, так что утренний свет сиял в лицо, и Эмилии казалось, что она идет прямо на солнце.

2002 г.

Мартышкино